

Лев РОДНОВ

(К этому тексту прилагаются гитарно-песенные мои «причиталки» и «кричалки», родом из семидесятых. Незамысловатые стихотворные тексты, которые были написаны более 30 лет назад, а прозаический «конферанс» к ним -- сегодня. Бумага стала сценой времени. А в роли главного выразительного средства этого произведения выступили... цифры. Даты под юношескими стишатами. Это, это – неубиваемые свидетели русского безвременья! Ничего не меняется в сути нашей!)

В «ЛЯ» БУДУ!

(в сокращении опубликовано в лит. журнале СП «Луч» в 2005 г.)

НЕПЕЧАТНЫЕ ОТПЕЧАТКИ

Я — живой фотоаппарат. Непоседливая дама по имени Судьба забросила меня однажды на ремешке через плечо и — айда гулять по белу свету! Чего я только не насмотрелся! Пришло теперь время проявить запечатленное... Например, ролик с названием «КСП» — клуб самодеятельной песни. Причем, я не собираюсь описывать в пикантных подробностях то, как самопальные поэты всех мастей и возрастов пили, пели и целовались под кустами, в подъездах, на заседаниях клубов с обязательным участием стукачей и на тайных вечеринках. На дворе, слава богу, заметно уже редели сумерки коммунизма: семидесятые-восемидесятые годы — время кукареканий. Утро новой жизни наступало, проявлялось изнутри. У каждого оно получалось особенным. У многих — говорящим вслух. Стихами или песенками. Это и есть те самые «отпечатки», которые я имею честь предложить глубокоуважаемой публике.

1.

На самом деле жена попросту в очередной раз выгнала меня из дома, напутствовав, как обычно: «Катись к своим блядям, алкаш несчастный!» Я, делать нечего, покатился страдать к знакомым, которые милостиво приютили несчастного аж на целую неделю. Особенно страдала душа. Ей казалось, что «у них» тут, на земле, ничего хорошего нет. Ей хотелось поскорее выбраться из ловушки — тяжелого людского тела. Но сделать это было не так-то просто. Поэтому главный начальник жизни — душа — старалась облегчить тело, держа его под постоянным ша-фэ, а сама опьянялась более возвышенным способом — искусством. Домой я вернулся с песней. Жена выслушала и прослезилась.

Прохожие, прохожие, похожие, как братья, куда вы так торопи-

тесь, куда спешите так? Ах, девушка, постойте, на вас такое платье, вы так легки и праздничны на тонких каблучках! Вы любите, вы счастливы, уже прошло ненастье, и небо кружит в лужицах: то осень, то весна; все наши встречи — первые, как первое причастие! Одна погода ветрена, как первая жена...

Прохожие, прохожие! Должно быть, это странно: вы ловите нечаянно спешащий полувзгляд. Цветочницы-лоточницы... А вы, увы, без дамы! Не знаю, как по имени, но всё равно я рад!

Такая, брат, история, романсы пешеходные, водителю автобуса не видно хмурых лиц. Ах, девушка, я думаю, вы очень-очень добрая, сказал бы, да так быстро вы проехали-прошли.

Прохожие, прохожие! Часы у вас торопятся. Ну, кто вам только выдумал про время столько врак?! Когда и так получится всё-всё-всё, что захочется, не так ли, синеглазая? «Не так, не так, не так...» (1975)

Манера исполнения у меня была подходящая: я орал песню то шепотом, то страшным голосом, волны небывалого страдания свободно гуляли по серьезному лицу вдоль и поперек, а глаза то западали внутрь черепа, то лезли вон из орбит — всё, решительно всё было призвано звенеть и звучать; руки мои при этом, как неумолимая молотилка, громобойным образом лупили фанерную ширпотребовскую гитару. О! Это такое счастье любить себя несчастного! Несчастного, но прощенного! Прощенного, но всё равно несчастного! О!..

2.

Позаботиться об организации лишь домашних несчастий — удел слабых. Титанам нужен был широкий фронт борьбы и подвигов. Поэтому тема стукачей ласкала сердце и ум особенно сильно. А то! Даже ребенку понятно: без стукача на крест не подняться. В России же за право распнуться как следует, да чтоб «смерть на миру красна» обязательно случилась — за это что хочешь отдадут и продадут! Хоть душу, хоть Родину. Во какой масштаб нужен.

К нам в буфет, на работу, всё время приходил Коля, куратор из КГБ. Все наши сотрудники Колю знали, вместе с ним пили пиво. Анекдоты в его присутствии травили особенно смачные. Я Коле тоже песенку однажды спел. Про «шестерку»...

Ах, жизнь, как шоколадка! Игрок непобедим, он ставит на лошадку под номером «один». Он ждет себе удачи, цветут его дела, но к финишу задачи лошадка не пришла...

В решающем заезде успех неоспорим — лошадка под наездником, под номером «вторым». Фортуна улыбается, игрок кипит от зла: лошадка спотыкается, кусая удила.

В кармане неразменная, последняя, как шанс, лежит монета медная, неведомый аванс. Еще не всё потеряно, играйте, господа! Бежит лошадка серая, бежит, как никогда!

И жизнь, как шоколадка! Игрок неповторим: на серую лошадку он ставит свой алтын... Когда и вам не сладко, и, проигравшись в дым, поставьте на лошадку под номером «шестым». (1972)

Коля намеки понимал. Грустно поддакивал. Пиво в буфете он сам никогда не покупал — пил наше. Не напрашивался, сами приглашали. То ли заискивали, то ли бравада: дескать, не подсадишь ли, Коленька, на какой-нибудь, хоть самый завалющийся, крестик? Ведь на Руси размышления о собственной героической пользе — покрепче пива-то будут.

Манеж видел многих: глотателей шпаги, лихих акробатов, и зрителей смех. Качались на ниточках света, во мраке, надежды безумцев лихих. Да не тех... Вот десять хлопков. Это — вся будет плата. Вновь вытащит фокусник старый платок. И выйдет Маэстро походкой Пилата, и номер объявит. Конечно, не тот... В руках растечется мороженка, тая. Сосед впереди обернется, как враг. На ниточках света гримасы летают — мешает страховка! Всё именно так. Послушные голуби сядут на ружья. И публика льстит человеку с кнутом. Играет по нотам оркестр то, что нужно. И клоун смеется: «Вот это — наш дом?!» (1976)

Когда, в середине восьмидесятых, советскую власть отменили, Коленька быстренько написал документально-художественную книгу о репрессированных интеллигентах. Никто моргнуть глазом не успел — уже напечатали.

Как ни пошевелись, получается: след в истории остается — автоматически. Только «следы», мне кажется, не есть сама История. А что тогда? Ну, послед, может... Настоящая живая история — в настоящем! Сколько настоящее вмещает в себя этой самой своей «истории» — именно столько в нем ее и находится. Ни больше, ни меньше. От этого настоящее и бывает то полумертвым, а то и вовсе как мумия в мавзолее.

Разве это плохо? Плохо! Плохо! — Балаган забыть закрыть... Разбегутся скоморохи по базару водку пить. Разве это плохо? Плохо! Плохо! — Позабыть проклятый грим. А еще б поверить в Бога, а еще бы стать другим. Разве это плохо? Плохо! Плохо! — Говорить о чудесах, и смеяться или охать: наша радость — просто страх. Разве это плохо? Плохо! Плохо! — Балаган оставить вдруг... Спит дурак с дурехой, годы — тук-тук-тук. (1977)

3.

Вы, вообще-то приготовьтесь: книга получится длинная. Надоест в начале читать — с середины открывайте смело. Без разницы автору. Автор — терев, токует, как глухой, любви, наверное, ищет. Небось, пока всё свое самолюбие не «выговорит» в пространство — не найдет искомого. А когда найдет, наконец, — небось, нечего будет сказать. Да и незачем. Но это всё — потом, потом... А пока:

На стогах птицы плачут, как люди! Просто день чью-то ночь разделил, просто мучаем тех, кого любим, потому что не мучить нет сил. Потому что нет сил расставаться и опасно напрасно сойтись, потому что устали смеяться, потому что устали грустить.

Каждый встречный, как друг долгожданный; ты, наверно, мой завтрашний день?! Мы разъехались просто и странно: галстук набок, душа набекрень. Неужели нет сил расставаться, неужели нельзя разойтись? Ну, зачем безнадежно смеяться? — притворись, притворись, притворись...

А соломенный дождь нескончаем! И луна по воде растеклась. Мы обиду, как лодку, качаем и прощаем друг друга мы всласть. Потому что нет сил расставаться, всё равно нам придется сойтись, даже если устали смеяться, даже если устали грустить. (1976)

...Вообще-то на самом деле всё было куда прозаичнее. Мы, позабыв обо всем на свете, целовались с девчонкой-сибирячкой на тюменском перроне. Прощались. А мой поезд — пошел. Тихо так, как кораблик. Поехали и мои вещички в этом поезде. Я не бежал за ним вслед — летел дикими скачками! Проводница последнего вагона уже опустила откидную платформу пола в тамбуре, стояла себе с семафорным флажком и равнодушно наблюдала за спектаклем: догонит или нет? Догнал! Прыгнул! Животом и грудью ухнулся проводнице прямо под ноги. Счастье! А она — чуть ли не выталкивает обратно: «Куда? Билет!» — Захрипел в ужасе: «Свой я, свой! Из шестого вагона!» До сих пор помню, как кто-то у меня в селезенке прыгал, пока я к проводнице под ноги заползал.

Не получилось у нас с той девчонкой-сибирячкой ничего. Недоцеловались, видать. Вот, говорят: романтика движения! Ерунда это всё. Нет в движении никакой романтики. Гипноз — есть, это да, мельканье ведь завораживает. А тот кайф, что подразумевается под словом «романтика» — это опьянение, только не от вина, а от обычной спешки, суеты то есть. Которую, кстати, при помощи вина можно сделать еще «романтичнее».

Вот, помню, провожали мы одного любимого коллегу-руководителя в Москву, его туда работать пригласили. Я, как полагается нищему поэту, посвятил событию песню. На дорожку.

Есть у барина баня и веник, для гусарских забав пистолет, есть у барина слуги и деньги, а вот друга у барина — нет. Что по ярманке маяться пьяной, что охотничьих маять собак, что поймут, что увидят крестьяне?.. Что увидят, поймут — всё не так!

По болотам он топчется дальним, тихо письма летят в Петербург. За столом гувернер из Италии, на столе из Италии фрукт. А у барина сплин деревенский, а у барина нынче театр, гастролер по фамилии Ленский, и какой-то гуляющий фронт.

Ах! Уважит заезжий начальник, погутарит, хлестнет экипаж... И останется всё, как в начале: будет барин, а друг — это блажь. (1978)

Ясное дело, первый куплет в конце повторяется, но уже с интонацией иной, не той, что в начале песенки — зловещая доброжелательность звенит в атмосфере... И прощальная водка разливается в излишне громкой неловкости остающегося общества. Его поезд ушел без меня. Но я продолжаю «везти» его жизнь! (М-да, наглая это всё-таки штука, людское воображение).

4.

Женщины — существа удивительные. Она (они) запросто может (могут) поступить так: «Он теперь — мой! Я люблю его!» А что чувствует и думает сама «несчастливая собственность», то есть, мужчина? Батюшки-светы! Да кого это интересует, кроме него самого?! Природа, Вселенная — целиком баба. Что там за сперматозоид внутри нее копошится? Объект «М»! Неужто на какое-то равенство надеется?! Глупенький... Сплошная всемирная «Ж» гребет всё под себя, и жизнь земную — футбольный мячик цивилизации — всегда в одни лишь ворота гонит. Нет, что ни говорите, а слезы нынешнему мужчине очень даже к лицу. Заслуженно!

Ни строки о любви, ни строки — в наших письмах, которых не будет. Будто голубь в окно залетел... Пустяки! Лишь дыхание лет уходящего судит. Ни строки о любви, ни строки в расписании нашего быта. Даже если с другой, даже если с другим: Извини? Извини! Не забыт? Не забыта! Ни строки о любви, ни строки не напишут следы самолетов. Будто преданный друг мне не подал руки, и глаза... И глаза, как сироты! Ни строки о любви, ни строки! Вот и стали скучными на это. И не в тягость шаги, и сужденья легки. Вот и песня, что, впрочем, уж спета. (1976)

Бежать! Бежать! Чем тяжелее на душе, тем сильнее хочется куда-то бежать! И с чего бы это? Ответ — технический. Душа — существо тяжелее Духа, взлетает с разбегом, особенно в «грузовом варианте», то есть, с полезным грузом грехов и опыта.

Часовые пояса. Адреса. Едем, ходим, убегаем. Почему так и гонит на вокзал телеса? Ах, какого черта, сам не пойму! В городах — этажи, этажи, запятые твоих фонарей; ты пойми: для меня эта жизнь от разлуки и песни милей.

И прикован я, как раб, у костра к чьей-то дружбе. А там, у реки, будут птицы печаль по утрам: нам пора собирать рюкзаки. Бесконечная наша земля, осторожный мотив колдуна, и как будто твой ищущий взгляд отражает немая Луна.

Ну, куда ты пропал, назови адресочек бродяжьей страны? Будет ниточка сплетен — порви! Будет вера — не будет вины. И опять самолет, самолет, неумелые чьи-то слова; всё покоя ногам не дает, ох, дурная моя голова. (1974)

...Однажды на Китайской границе, где я был в командировке, случилось мне близко подружиться с гусаром советской армии, заместителем нач. разведки пограничного отряда, двадцатипятилетним Анатолием. Мы пили водку на нейтральной полосе и вели упоительнейшие антисоветские разговоры друг с другом и с особистами, заглянувшими на заставу «за рыбкой». Здоровенный особист ловко и жутко рвал, без ножа вспарывал живую еще рыбу прямо руками, мощными короткими пальцами, очищая ее от чешуи и освобождая от потрохов. Фары УАЗика нагло светили через реку прямо на черную дыру китайского дота, выдолбленного у подножия сопки, в скалах.

— Вы за кем следите? — спросил я сразу же после первой.

— За ним вон, — кивнули особисты на Анатолия.

— А за вами кто следит? — спросил я вдруг.

— За нами тоже следят... — буднично подтвердили они.

Офицерская молодежь здесь, в глуши-глухомани ничего не боится, «звездочек» на погонах еще не много, терять нечего пока — живут! А после «майора» — страх наступает: за карьеру бояться, жизнь кончается — служба начинается. Жизнь — игра. А служба?.. Анатолий вздохнул рассказывал, как они китайские заслоны «снимали» без единого выстрела — разведчика проводили вглубь соседней территории аж на полсотни километров. Зачем начальнику самому ходить в такие походы, спрашивается? Скучно, смертельно скучно служить! Смерть, опасность — отличное развлечение, великолепное средство для взбадривания всех жизненных ощущений. Адреналинозависимость. Анатолий — профессиональный убийца. На руках его — торчащие, специально набитые, оттренированные кости. Кунг-фу. Здесь, дома, Анатолий никогда не дерется даже по великой пьянке, не умеет драться — все удары рассчитаны лишь на убийство. Как Соловей-Разбойник, не умеет в полсвиста. Дома его можно брать голыми руками — безобиден.

Странное я привез домой, на материк, состояние из этой дальней командировки: как будто влюбился в этих веселых пройдох с лейтенантскими погонами...

Не затворяй, товарищ, окон, не разбавляй словами спирт, в окно глядит лицо Востока, а за тобой — Россия спит. А за твоей спиной флаги, заря над сопкой — алый бант, и каждый день, как день присяги, товарищ старший лейтенант.

Ах, издалека глобус — синий... А за окном играет пыль. Не может спать «квадрат» России за восемь тысяч от Москвы. Все может быть. Грозою летней нас уведут под барабан... Давай по первой, не последней, товарищ старший лейтенант!

Вослед за веком просвещенным бежать бы, мелочью звеня. Да наша дружба — два патрона! — на тихой линии огня. (1979)

Через два года приехал — спел. Выпили. Сели ночью за казармой на пороге офицерского домика. Над головой — звезды иглами жалят! Чистый в горах воздух, небо ближе делается, всегда лихорадит от этого внутри что-то. Анатолий привел прапорщика Гришу и начзаставы Володю, по фамилии Кот.

— Спой еще. Для ребят.

Стал стараться. Когда стараешься, не так хорошо получается, как хотелось бы. Но ребятам всё равно очень понравилось. А мне почему-то сделалось стыдно. Может, от нечаянных чувств, что проявились вдруг между мужчинами.

А что там у нас на часах? У нас на часах тихий час! Не велено нам просыпаться. Кому-то приснится вопрос, кому-то приснится рассказ: полцарства с принцессою, братцы! Во сне мы умеем летать, во сне очень просто мечтать; мечта — говорящий учебник! Сейчас мы откроем тетрадь, мы будем читать и считать, ведь ты — самый главный волшебник!

А маятник — так-таки-так! — шагает на месте «тик-так»... Лежит под подушкою время. Кому-то над пропастью шаг, кому-то обида и враг, кому-то до неба ступени. Как всё-таки спать хорошо: вон золота целый мешок; здесь каждому ум достается; когда б и куда б не пошел, весна в этом мире большом, — здесь каждому место под солнцем!

Тут даже ленивый долдон в фантазии делает дом. Во сне не бывает ошибок! За окнами сердится гром, мы прячемся, прячемся в сон, туда, где поляны улыбок. Но! Что там у нас на часах? Две стрелочки, как на весах... Извольте! К нулю приближенье! Не сводят с нас пристальных глаз те, кто нас разбудит сейчас: вот-вот-вот-вот-вот пробуждение! (1977)

5.

Когда мать умерла, отца «использовала» мачеха. В точном соответствии со всеми сказочными стереотипами, касающимися описания поведения этой героини. Самолюбивая ведьма для начала сожгла все фотографии моей матери, уничтожила дорогие для сердца и души вещи, зашила в подушку ржавую иглу... Отец умел терпеть. Удивительными обладал терпением и выдержкой! И мне наказал: «Терпи. Не смей ей ничего говорить». Прошло время — ушел из жизни сам. Мачеха после похорон, нехотя так, говорит: «Возьмешь фотографию-то отцову?» Я не взял. Не захотел. Попробую сказать, почему. Мое — только то, что со мной, что по силам мне нести в себе самом, — помнить, что ли, всем существом и день, и ночь, и всякий иной миг. То есть, «фотографию жизни» никакой бумаге нельзя доверить, никакому ИЗОбражению; живое в живом живет — образ в образе. Когда отец терпеть велел — это он меня, мою душу работать учил, чтобы неслась, не ленилась, то, что любит, в себе самой. Душа должна быть беременна памятью. Это — ее Любовь, которую нельзя выпускать наружу; расплющат ее здесь немедленно силы вещей и жадность мыслей.

Меня увозят в разные края товарищи в своих воспоминаньях, как будто в ближних странствиях и в дальних делиться жизнью с ними буду я. Как будто на вчерашней вечеринке танцуем легкомысленные мы, и жизнь еще не на две половинки, и далеко до финишных прямых.

И вот уже оглядываться надо, веселие храня в воспоминаньях. Уходит время писем и признаний. Наряды — новые... Но что же ты не рада? Ах, встречи мимолетные, — прощанье! — касание былого и души. И солнечные зайчики в стакане, и поезду вслед глупое: «Пиши!»

То искрой божьей, то повиновением заплачено за каждый переход. В полупрозрачности и в полуослеплении товарищей мне память соберет. (1975)

Конечно, ходить всюду и всегда с серьезной рожей — это очень смешно. Поэтому каждый Пьеро обязан иметь (на светлый день) маску Арлекина.

То тебя в себе, то себя в тебе я ищу и никак не найду. Ах, ты, любя, люби. А не любишь, блин, я еще чуть-чуть подожду. А вот и бес в ребро, и ребром вопрос: отчего же не спится мне? За костром костер, я, как бес, хитер, я тебя люблю всё сильнее!

Не беда — беда, пусть с небес вода, и желтеет, конечно, земля... Ерунда года, всё ни «нет», ни «да», так ищи-свищи короля! Не твоя, моя, не моя, твоя, отвяжись, зелена ты тоска. «Беломор» жуя, рассуждаю я, что любви нема, что пока.

Ну, куда несет? Оборвал — и всё! Уж кивает удача, маня. Не везет и всё! Повезет еще: Горбунок-Конек — для меня. То тебя в себе, то себя в тебе я ищу и никак не найду. А ты, любя, люби, а не любишь, блин, я другую, блин, подожду! (1978)

Традиционный весенний фестиваль самопальной песни проходил в Перми, точнее, не в самой Перми, а километрах в восьмидесяти от нее, на речке Бабка. Огромный плоский луг только что освободился от заливающих его вешних вод, никакая растительность еще не облагородила уныло чавкающей под ногами тверди. Но солнце уже светило вовсю и вовсю горланили на фестивальной поляне оглашенные с гитарами.

Мы с другом приперлись на этот фестиваль собственным ходом, велосипедами, за четыреста километров. То есть ничего лишнего с собой не везли. Вместо палатки — полиэтиленовый пакет нечеловеческих размеров, вместо завтраков, обедов и ужинов — чай, чай и еще раз чай с чаем. Пермьки нас пожалели, «приписали» к своему лагерю и поставили на довольствие. На три дня «халява» была обеспечена. Впрочем, это большое заблуждение, что за халяву ничего не платится. Платится! И еще как! Просто ценности одного пласта жизни обмениваются на ценности иные, миска супа, например, на два-три душевных разговора с обниманиями и вздохами. Халява — это единая универсальная валюта между параллельными и даже перпендикулярными мирами. Это всё — присказка. Сказка для меня началась, когда выяснилось, что девушка-повар — чувствительная натура, поэтесса, ищущая возвышенных ценителей и судей. О, ужас! Она решила, что я как раз гожусь для этой роли! Товарищ мой был проникателен: «Не вздумай увилить — без жратвы останемся!» И я терпел. Днем повариха кидала в сторону нашей прозрачной со всех сторон полиэтиленовой палатки-кулечка сокрушенные взгляды, а в темное

время суток покушалась на меня особым образом — декламировала. В общем, с голоду мы с приятелем в тот раз не умерли.

Идем! Идем! Идем, товарищ мой. Пойдем туда, где искренность тверда. Не верь хвале и брани площадной: не пали, парень, наши города! Давай, давай, давай поговорим, кольцо дорог когда-нибудь порви, ведь каждый шаг всегда неповторим... Запомни и — разлуку помяни! Стремление — кнут. Решение, как спор. Сомнением смей возвысить ремесло. Случайный взор — доверчивости вор... Не прячь глаза, грядущее светло! Решай, решай, твой выбор не велик: вчера и впредь — последняя черта. И, болью жив, рождается твой миг, но волей дней изменчива мечта. Так пройден Круг. Пора итогов есть. Не прячься, друг, спасение смешно. Заблудший мир, старинная болезнь, зачем стучишь к уставшему в окно?! (1976)

...А потом повариха писала толстые письма, в которых содержались полукилограммовые пачки рукописей. Я читал их и не знал, что сказать. Потому что быть судьей чужому восторгу — означает убить свой собственный.

— Нравится, что ли? — поинтересовался однажды приятель.

— Фигня! — уверенно произнес я и вдруг понял, что безнадежно лгу.

В очередном послании отыскался настоящий шедевр, всего лишь одна строчка...

Вот она.

«...В собеседнике ценятся уши...»

О! Это было, действительно, «О!» Или даже «О-О!» Я почувствовал себя счастливым дурачком, которому доверяют саму мудрость. (В скобках замечу, справедливости ради: дурак и дурачок — далеко не одно и то же. Дурак дурачка не сыграет!)

О! О!!! Счастье — это непрерывное «состояние идиота»: любое внешнее движение жизни вызывает в нем внутреннее ликование, радость. Построили храм — радостно, упал — тоже смешно...

Даже собственная смерть идиоту смешна.

Вагоны едут, люди мчатся, не понимая кой-чего: что всем придется возвращаться под крышку гроба своего!

(Последние две строки в песенном варианте принято повторять. Зачем, спрашивается? Если в прозаическом образовании повторение — мать учения, то в песенно-стихотворном — это отец осмысления; осмысление никогда не говорится словами, оно — в интонации, в особой расстановке пауз, честное слово!)

Ладно, поем дальше...

Ах, я живу, как лошадь, стоя. А в результате — итога: осталось детство золотое под крышкой гроба своего.

(М-да... На знаменитом перстне Цезаря было написано: «И ЭТО пройдет». Хорошая надпись. Наши попроще будут: «И эта — уйдет».)

Ладно, опять поем...

Какие речи! Ласки жгучи! Жена чужая — о-го-го! Любовь сошла благополучно под крышку гроба своего.

Далее — особенно оптимистично:

Мое призвание известно, родила мама одного: «Найдешь, сыночек, в жизни место под крышкой гроба своего».

И — философическое крещендо:

Легко над временем смеяться, не хватит именно его. Но! Как полезно возвращаться под крышку гроба своего. (1987)

Ха-ха-ха! Очень остроумно, не правда ли? Не хотите — не смейтесь. Как хотите. Не всем же идиотами быть.

6.

Довольно долго малые дети, особенно груднички, внушали мне безотчетное отвращение. Пока не привык. Черета судьбы — мои разлюбленные жены — исправно рождали детей, а я — стирал пеленки, баюкал, иногда, разумеется, проклинал горькую долю мужчин, но чаще погружал работающее тело в спасительное состояние безразличия — улетал верхом на воображении куда-нибудь. Куда? Да куда угодно! Лишь бы там не оказалось череды жен, стирки и вечно орущих детей...

Белый бантик, белые носочки, васильками светятся глаза, а у папы с маленькою дочкой — лишь один билет на чудеса... Не пройдите сказки этой мимо! Наклонилась радуга-дуга, где-то рядом добрая Мальвина и смешная Бабушка Яга. Здравствуй, здравствуй, белая Снегурка, платье в звездах, русая коса! Говорящий пони Сивка-Бурка раздает ребятам чудеса!

Ничего, когда бывает трудно, не беда, что злится Бармалей, лишь бы рядом радовалось чудо и цветы смеялись на земле! Сто улыбок пляшут в хороводе, у слона кружится голова. Даже если праздники уходят — остаются песенки слова...

Белый бантик, белые носочки, васильками светятся глаза, а у папы с маленькою дочкой — навсегда билет на чудеса! (1981)

Малышня, слава богу, растет быстро. Значительно быстрее, чем успевают стареть, так называемые, «взрослые».

Гости опоздали, гости опоздали, на столе вино и торт. А кого мы ждали, а кого мы звали? — дверь открыли в коридор. Как это бывает, как это бывает: выдуманный добрый мир... Мы не понимаем, нас не понимают, — одиноко быть с людьми!

Ходим по планете, ходим по планете, дети и недети — врозь; двери открывает лунный ветер, что ж, это — надежный гость. Дело не в обиде, дело не в обиде, видел Юг и Север, но — душу оглушила тишина, как выстрел. И не помогло вино.

Первые перчатки, первые перчатки бились за чужую честь, только проиграли бой молчанке, ведь игра такая есть.

Гости мои гости, песни под гитару, ёрники и злые языки; знаю, что другого мне не надо даром! — были бы сердца близки. Только почему-то, только почему-то у соседа есть стена... Гости мои, гости, в доме — пусто. Ветер, да в окне Луна. (1977)

...Я у господина Мельникова-Печерского, русского писателя, в его очерке о знаменитом изобретателе Кулибине вычитал прелюбопытную вещь. Заело этого нашего Кулибина, что англичане телескоп с микроскопом изобрели, вся Европа ахает, а секрет свой англичане никому не раскрывают. Взялся русский мастер «изобретать»: разобрал заграничные оптические механизмы до последних косточек — принцип действия понял! — давай свой вариант аппаратов делать. Сделал. Не хуже получилось! Утер нос англичанам, а заодно и тайну их рассекретил. Такой «рассекречиватель» — изобретатель изобретенного — в России запросто героем станет. До нынешних дней все наши открытия — на кулибинский лад... И в технике, и в философии, и в живописи. Куда ни плюнь! Возьмем чье-нибудь непонятное и удивительное, расковыряем, — ах-ти! — дошел секретик до ума, можно «свое» лепить, за свое выдавать, истово самим верить: свое, мол, собственное нашли! Я сам наблюдал, как инженеры уральского мотопроизводства «раздевали» знаменитую «Хонду» — японский мотоцикл. Заело. Опять не хуже хотелось «изобрести». Видать, мозги у толковых россиян особым образом устроены — искусственного осеменения требуют. Своего семени нет. С варягов всё началось.

Всё проходит. С прискорбием помнится удаль школьно-студенческих лет. Как же так? Не успели опомниться, а уже — даже выбора нет. Как же так? Мою девушку-школьницу ждет с работы не любящий муж... И я сам — тоже чья-то бессонница, повод для вековушных плакуш. Где же ты, карнавалов околица? Удадь просит себя повторить! Ах, мечта, точно розочка, колется: «Не твоя... Не спеши подарить!»

И пророчества, и пожелания — жизни выигрыш, куш на бегах: Изя, троечник, — идол собрания, Мишка, друг, — в коммунальных долгах... Может, зря презирали мы весело тех, кто знал загляденье вперед? Им

диплом, а нам вечная сессия: год за годом, то дом, то завод.

Всё проходит. Подружка случайная — эта жизнь. Эта ночь — напоказ! Да смеянья великопечальные, да вранье юбилеев на час...

Всё проходит. Глаза любопытные: чья там будущность, водоворот?! Пассажир, чья-то юность небритая, — «Эй, полегче! — кричит. — Поворот!» День-деньской происходят старания. Что кому: по уму, по рукам... Всем воздастся. Молчанье — молчанию. Слава — славе. И деньги — деньгам. (1976)

Собственно, легко ведь догадаться, откуда и почему возникает это сладчайшее из человеческих чувств — печаль, или крайнее ее выражение, эмоциональная наркомания — вселенская скорбь. Всё очень просто! Вот я, например, смотрю на любимую девушку и, тем самым, уже помещаю ее «дорогой» образ в свой внутренний мир — между прочим, в свою основную, единственную и субъективнейшую реальность. Внутри у меня любимая будет выглядеть всегда значительно лучше бывшего — наружного — оригинала. Начинается натуральная конкуренция двойников. «Не тот», «не там», «не такой» или «не такая» — это только за пределами моей внутренней реальности. Я не маньяк и не буду уничтожать «не таких». Но никто не мешает мне взирать на них с жалостью и печалью: ведь они, бедные, никогда не смогут стать такими же прекрасными, какими я их образовал внутри себя... Ах! Ох! Ух! Ой! Снаружи — не жизнь, не любимая, не друзья, а какой-то... «жмых», оставшийся от того, что именовалось некогда этими словами. Не правда ли? Я не ангел и всё время скатываюсь на то, чтобы судить побежденную сторону. За это мое существо испытывает удары с двух сторон: снаружи нещадно бьет чужая обида, изнутри — собственная совесть. Что ж тут веселого? Печально, знаете ли.

Второму «Я» сказал я: «Вы», двойник мне «тыкал», впрочем. Второе «Я» — из головы. Моей? Не знаю точно... Оно — гляди! — на дало спать, оно в беседу буром! А я — стакан! Оно — опять: о хмуром всё, о хмуром. И в этот миг, ужасный миг, страшнее нет на свете! — раздался крик, ужасный крик, и — объявился Третий!!! Двух «Я» прогнал. Меня загнул. Не верят психиатры... А мне — укол! А я — уснул с сознанием Бонапарта. Но с той поры, увы, увы, вопрос занозит болью: а кто был Третий? Может, вы? А, может, кто поболее? (1975)

Кому-то опрощение может показаться деградацией. Я всех заранее заверяю: это не показалось. Суть человеческая как бы успевает нынче многократно реинкарнировать в одном и том же физическом людском теле. Чувствуете разницу? Люди — это жизнь государства. А Человек — просто жизнь.

Мы стремимся опять не к тому, то есть, к цели конечной и сытой. Уравнявший желудки, диету уму обеспечил наш строй знаменитый. Ничего, что в мозгах пустота. В пустоте дюжий шаг напряженней. Под фанерной звездой, покорней скота, опоенные ходят колонной! (1975)

Коряво сказал, сам понимаю. Лучше не получается. До сих пор в памяти штормит. Блевать охота от того, как Коммунистическая партия Всея Союза укачивала своих «кагонек» на мертвой зыби Красного Океана. Многих укачала, а уж утонувших по доброй или не по доброй воле — вовсе не счесть. Как вспомню про своего умершего отца, всегда на сердце щемит: он ведь жил всем этим, честно дышал отравленной атмосферой, как требовалось дышать по Уставу. Что я могу сделать для него, любимого, сейчас, когда его уже нет?!

Я приглашаю жить умершего отца в иллюзии, построенные мной...

Будь здоров, дорогой, не болей. Поезжай. Не жалея ни о чем. Ну, давай, по последней налей... Может, свидимся нынче еще. Не пиши, дорогой, ни к чему, наша память концы не отдаст, и охочие речи зануд не спрямят разговоров креста. Чаевые словами берем: бумеранг, дорогой, бумеранг! Слава богу, не вскладчину пьем. Не побрезгуй стакашом. Хандра... Будь здоров, дорогой, не болей. Говори! Не жалея этот час. Ну, еще, по последней, налей! Поезд раненый мчится, крича. Будь здоров, дорогой, будь здоров. (1978)

Не знаю, насколько удались мне эти опыты само-конференса... Стихи, как и вся наша жизнь, «прыгают» по уровню и чтобы не было при чтении неприятных перегрузок, «прямоугольных» скачков, — кому-то ведь обязательно нужно исполнить роль «плавного перехода». В природе — это делает сама Природа. Значит, в своей природе, кроме меня, устроить жизнь по принципу волн, а не по принципу скачков, попросту больше некому. Лучше ведь волноваться, а не потрясать. Скромно замечу: вряд ли моя поэтическая «рябь» будет всерьез уловлена крупными читательскими кораблями сегодня. И самонадеянно добавлю: сия рябь — поверхность цунами!

Похоже, люди планеты не в состоянии жить там, где, собственно, жизнь и происходит, — в мгновении. Слишком уж они для этого «надутые» разными своими важностями — в мгновение не помещаются. А, значит, и живут где-то в сторонке, не совсем настоящие, в своих «пойманных» мгновениях — как живые фотографии, то есть, без изменений. Портятся, конечно, со временем.

7.

Как же все-таки в это волшебное ничто вне времени — в миг бытия — поместиться? Непонятно. Слишком много тяжестей волочится за человеком по жизни: тяжелые вещи, тяжелое прошлое, тяжелая память, такие же чувства, мысли, связи... — всё, в общем, то, о чем говорим мы себе: «Дорого». Миг же бытия невероятно легок! Никакая «тяжкая» память в нем не умещается. Возможно, Бог живет именно там; мгновение — его Дом. Что-то нужно сделать с самим собой, чтобы туда войти... Что?! Советчиков много — не вошел, однако, ни один. Как и во что, в кого преобразоваться? В горнило каких метаморфоз отдать тело, разум и душу — двух братьев да сестренку-мечтательницу?

Ох, не прогадать бы. Они ведь у меня, трое, — круглые сироты. Только и умеют, что друг за дружку держаться в жизни, а уж если ссориться — непременно насмерть!

Может, в будущем полегче дышать будет? Увы, этот самообман сродни алкоголю и называется красивым именем — Надежда. Будущее людей замусорено так же точно: пророчествами да расчетами!

Эх, завьется вдруг прямая да горячая Божья мысль на секундочку в дырявом горшке головы, напылит словами, и оседают они потом, бедные, под собственной тяжестью, ложатся какими-то новыми вроде бы узорами на зеркальную плоскость очарованного сознания; что ж, эти-то узоры и тщимся потом разглядывать, как кофейную гущу, гадая: к чему бы? зачем?.. Или тряхнет черт под задом — опять в голове та же пыль поднимается!

Небес бездонных огненные знаки, звезд белобрысых дальний эшелон, в озерной ртути чуткие зигзаги — нечеловеческой фантазии излом!

Не шея, мысль приросла к ярму: дом, ремесло, глоток вина... Ты радуешься солнцу своему, я радуюсь: луна моя черна!

Слова и вещи — человека тени, качается немолодая голова: немало сделано приобретений, последнее — необходимость отдавать!

Играю в детство: кажусь себе взрослым; любовь моя, как газета... Что впереди было — в прошлом; кануло лето в Лету.

Зябко у ямки в валенках. Руки запачкал глиною. Какой ангелочек маленький, а силища — непобедимая!

Шесть простыней. Четыре одеяла. Четыре наволочки. Две сковороды. И прочее за все труды... Потел мой разум! Сердце — остывало.

Грех с Удовольствием — пара. Кайся, авось, поймут. Главное — не ударить дважды по одному.

Ласкаю жизнь, как мину ласкает в час крещения сапер; в грехах моя невинность, в раскаяньи — позор!

Реанимация вдохновения, уборка в квартире ранняя; унизился до оскорбления, дожить бы до понимания.

Бог невинных наказал: дал беззащитным зренье, чтоб ближний ближнему глаза выкалывал сомнением.

Прячусь за обожанием, подражаю артистам даже... Скучаю без

«наказания» — без бури твоей тишайшей.

Одиночество, хуже кощеева! Охает воскресение: по воскресениям — раскрепощение, по понедельникам — воскрешение.

**Испортился бамбуковый характер. Спасение души прекращено. Как будто с плода ободрали мякоть, раздели душу. Больно.
(1978)**

8.

Ясно, что стихи люди пишут, компенсируя таким образом какую-то пустоту в своей жизни. Как в анекдоте: «до того», «после того» или же «вместо того». В контексте данного произведения вышеупомянутое «того» означает не пробуждение половых инстинктов, а — возникновение голода иного порядка: проснувшихся извилин и какой-то там еще «высокой» души...

Младенец еще не умеет говорить — он просто орет. Ему так хочется. У него глотка чешется. Ее следует хорошенько приготовить к будущему неутомимому ораторству, ибо в мире людей всякая громкость ценится превыше всего. Вопль — язык восторга и любопытства, восторженной ненависти или любопытствующего самолюбия. Молчаливая же мудрость в своем поведении подобна смерти. Или Любви.

Ах, люди, люди! Они, кажется, спутали любовь и самолюбие. За голос мудрости они принимают свои бесконечные охи, жалобы, стоны или собственное мнение. Я пробовал, когда был начинающим «людем». Наиприятнейшее занятие, знаете ли, жалобиться!

К свету тянусь, как растение. Свободен! Да не просторно. Щенячье мое наслаждение — голодного сердца покорность.

В душе моей — будильник! Бегаю от судьбы: помню, что «заводили», а для чего? — забыл.

Незванный гость, не высидевший дома, твоя свобода проще, чем коньяк. Ты всякий раз мне чем-то незнакомый, без трех минуток друг или мой враг?!

Горбатый горбатого встретил и каждый смеялся до слез: ведь каждый горбатый заметил, что горб у другого — подрост!

От сердца к сердцу гонцы дойдут. И разуму понятен разум. Молчание! Вот где «проказа», живущая в твоём саду.

Помоги, ангел мой, уходи!.. Миг листа. Пустота на постой ставит

тонущие ладьи в небе, брошенном вниз головой.

Не панацея! Мой «допинг» — сочувствие. Дарующий да не внемлет! Умерши, не вернусь ли я в ненависти на Землю?

Как тесно... Незачем аукать. Твои глаза во мне, как клин. Трубой подзорной тянется разлука с любимым... одиночеством моим.

Светлей предательства кукушки рук золотых ее оклад; честней, чем исповедь заблудших, кричит мой верующий взгляд.

Вы верите в то, что вы говорите? А в то, что творите, верите? Вторична ль причина в лидере? Первичная ль в том, что вторите? (1978)

9.

Я расскажу вам о своей застенчивости. В юности она была поистине ужасна, если стыдили на копейку — умирал на весь рубль! Нравилось умирать. Просто больше ничего другого так хорошо не получалось. Подойдет на улице какая-нибудь симпатяшка спросить: «Не подскажете, который час?» — Конеч! В глазах полно туману делается, соображения никакого. Вот-вот обморок должен приключиться.

Чтобы хоть как-то приспособиться к совсем незастенчивому миру людей, решил действовать его же оружием — обрасти коркой уверенности: напористым нравом, громким голосом, инициативной решительностью. Но — как?! Пошел специально «тренироваться» на улицы, стал у каждого встречного-поперечного спрашивать: «Время не подскажете? А закурить не найдется?» Несколько раз даже накустыляли в темное время суток из-за таких вопросов. Это окрыляло! Я почуял под ногами верный путь.

Эскимо — микрофон! — мороженое. То-то обжег язычок! Надо бы осторожнее: выкусил, и — молчок.

Истина — колесо. Плод не замедлит зреть. Явь — это жизни сон. Жить обязует смерть. (1978)

10.

Хваленый отчаянный героизм русских — всего лишь психопатичная форма преодоления собственного страха. У безмозглого героизма одно оправдание — на миру смерть красна. С застенчивостью — та же самая история.

Бои, всюду бои... Стратегического и местного значения. На полях Родины, в кабинете шефа, в общественном транспорте, на кухне и под одеялом.

Побеждает традиционное наше супероружие — отчаянность: отчаянные хамы, отчаянные наглецы, отчаянные тихони...

Не тронь истока в поисках прозренья! В Час Полдня остановится Река. Рука берущая — посол воображения, всё объяснившего на свете дурака.

Старичка я попросил: «Вознеси на небеси!» Приподнял... Да — отпустил: нету сил.

Страданья нищеты пустяк, злой голод духа причиняет муку. Груз бренности твоей простят, коль ты — вино, а не в стакане муха.

В прощении — кара! Петлею друзей наброшена старость на песенку дней.

Пока планета не остынет, пока достаточно елея, пой, тамада, палач уныню! — под гильотиной юбилеев.

На ранах неба соль земли. Врага молю: «Внемли! Убей...» Чтоб Бога — не убили!

Оружие — икона генерала. Пехота падала. Икона воевала.

Какое яростное слово, как с треугольного штыка, лететь из уст моих готово! Вперед!!! А — нету языка...

Восторг метнулся из кабины, прыжок пронзителен, как свист: на половине мандарина — повесился парашютист.

Я — это плата за тех и то, что движется взамен. Я трещины тысячелетних статуй. Я — тлен.

(1978)

11.

...Никакого специального умысла или смысла в построении текста автор не преследует. Всё происходит так же прихотливо и «низачем», как у ручьев, бегущих по дорогам после ливня. Если любезный читатель будет благосклонен отдаваться предлагаемой стихии так же точно, как отдался ей автор, то есть малюсенькая надежда узнать: куда же всё течет? В которую сторону уклон: вниз или вверх? Течем по стволу жизни, растем, поднимаемся или нас ждет ливневый сток на перекрестке? Мудрец давно предупреждал, что всё именно течет, и именно — изменяется. Потомки не там расставили акценты, не на том, то есть; они сосредоточили свое внимание на движении плоти и ка-

честв, а главное в афоризме упустили. Главное — это слово «всё».

Любовь жестокости не мачехой назвалась. Дорога, братцы, дважды неверна: медлительность пресыщенных — усталость, поспешность неудачников — вина.

Невеста-жизнь приданое спросила, разлука-жизнь утешила ее: «Легка земля, которая любила. И чаша грез пустая до краев».

О, если ты, грешница, в рай попадешь, не будет тебе наказанья страшнее, чем жуть одиночества в сонме святош... Взгляни, как счастливо страдаю в смоле я!

**От меня ушла жена. Ти-ши-на.
(1978)**

Честное слово! Художник ведь выбирает жену не для жизни, а для своих представлений о ней. В отличие от жены, которая согласна выйти замуж за «этого вон» только потому, что видит в нем что-то вроде оригинальной картины, которую она, как практичная хозяйка повесит в гостиной своей жизни в качестве украшения, и будет показывать приходящим: «Да, вот, взяла по случаю...»

Люблю надежд самосожженье, обиды крепкое вино, ложь запоздалого сближенья! Как много радостей дано...

Что ж, грозы выбирают одиноких, поднявшихся над лесом часовых. Деревьям в бурю кажется жестоким благополучие травы. Трава растет. Питается. Питает. Ей хорошо: она — не знает.

**Пророк пророку не изволит доверять. Могил порожних радуется ложе! Всё дума ест безумного царя: «За что пророк народ безбожит, за что народ пророка божит?»
(1978)**

12.

Помню, Брежнева хоронили. Собрались в конторе все наши перед телевизором: обряд торжественного лицемерия понаблюдать. Строго так сделалось в воздухе. При жизни вождя плевались ведь, анекдотами всё имя истравили, а тут притихли: смерть все-таки, совестно перед последним знаменателем зубоскалить — общий он, конец-то. Кто-то даже всплакнул, как положено. Гроб установили для череды прощальных правительственных поцелуев. На экране идеолог Суслов к усопшему приложился... И тут я подхожу к честной компании наших зрителей со спины и громко так шучу в духе «черного» юмора: «Горь-ко! Горь-ко! Горь-...» Всех вмиг сдуло от телевизора кого куда. От-

ветственности испугались. За меня, дурака, между прочим.

Веселый траур! Глупого вождя неделю племя хоронило. Ничто не изменилось и день, и год, и боле погода.

Живи овцой довольной среди стен, к иным просторам даже не ревнуя; давно пируют ангелы над тем, что первым покидает плоть земную.

Гарем камней вернуло море, янтарь и жемчуга забрав. Чтоб наполнил веселье горем голодный пасынок добра.

Какое лето пролистали! Как в предрешенности светло! Сквозь «решето» осенней стаи кольнуло — скудостью! — тепло.

Безумие — заманчивый каприз. Известно наперед: сладка отравка — жизнь, и смерть — противоядие ее.

**Невинность — к отчуждению путь. (Жизнь познанность беспокоит!) Смех Истины древней, чем блуд всех тайн. Великое — нагое.
(1983)**

13.

Да-да, разумеется, я так и предполагал: Великой Славе в жены подойдет только одно — Величайшая Скромность. Последняя должна несколько превышать по своей силе суженого, а то вместо Любви на земле опять получится (внимание!) черт знает что, ци-ви-ли-за-ци-я какая-нибудь, например. Коллективный хищник.

Нужда, тебе я суженый! Беда — моя сестра! Презрение — оружие для зла иль для добра?! Друзья меня помилуют, враги меня простят — любовью, как... могилою, на-гра-дят.

Трон для бродяги — смерть. Царь в рубище — величье. Коварен блага червь. Идущий голод кличет.

Старость — удалость в застолье шумном. Жалость — обуза попутчикам юным.

**Исчадьё разума — озлобленное сердце. Судились домочадцы. Торжествовал «истец»: в дом к мертвому не достучаться.
(1983)**

14.

Именно так! Возьмешь, бывало, в руки гитару,строишься на кухне, когда дома нет никого, задумаешься глубоко и — сразу же афоризм сочинится. Например, вы, прощаясь, можете потрясти свою даму таким, к примеру, изречением: «Любимая! Всё время, свободное от чувств, я буду о тебе думать, а во время, свободное от мыслей, я буду тебя чувствовать».

Природы голос для не внимлющего — «звук». Не понятого «ценность» — не потеря. Соблазн (не загнивающий ли фрукт?) мир кающейся глупости доверил.

Что хочу, повелю: «Люблю-не люблю».

Итог: желание итога. Мудрец безглавый в плену доверия людского растлен послушностью, оплеван славой.

Разнообразия убожества несметны! Не возраст... Время — стыд! Сколь сладок пот любви запретной, столь долог путь до простоты. Свинцовый меряет венец, окован опытом, юнец.

**Обломки воспоминаний сгрудив, вернуть весне бы птиц свист...
На землю зверя ступили люди — апокалипсис!
(1983)**

Стихи экономят слова, а вот бумагу — нет. Вы уж извините, если что не так... Бывало, выйдет самодетельный «соловушка» (ну, в смысле осоловелый от какого-нибудь недавнего портвейнчика за кулисами) на сцену и перво-наперво заявит: петь не умею, играть на гитаре тоже. Это, значит, понимай так: на слова, мол, налегаю — в них весь толк. Зрителю деваться некуда — слушает слова, а «вокал» с «музыкой» — терпит, как неизбежность и издержки жанра.

Кому дано: дано украсть себя от всех. Душе наука: ждать совращения славой — сладость, жить, совращенным славой, — мука.

Полубеззубый шепот... Качает время дверь! Заплачено за опыт слагаемым потерь.

Обокрали меня, аж держусь за портки, наградили босяцкою славой. Кабы видели вы, как ревут мужики над житухой-питухой корявою!

Пахать хорошо, перепахивать трудно. Отец с сыном век не в ладах. Бездонная бочка абсурдна до тех пор, пока есть вода.

Он в тридцать лет часы перевернул. Старик родился. Юноша ус-

нул.

Скорбящий действию не друг, жрец бесполезной страсти. Но племя бережет, как слуг, скорбящих — для подслащиванья... счастья!

Поле боронили — глупость обронили. Урожай хороший: взошли одни святоши!

Физически стесненный обрел в раздумьях снисходительности культ: «Всем виден, богатырь, твой пот соленый... Обыкновенное — не учащает пульс!»

«Вы не могли бы?.. — Некогда мне ныне! — Позвольте, Вам... — Нужды нет брать!» Сгустились сумерки. И с тьмой слилась гордыня. И перестала немощь призывать.

Птичка птичку не осудит: нынче кверху, завтра вниз. Неразлучными не будем — больно весело клялись!

Смирю желание — желание желаний. И, зубы стиснув, воспою таким молчаньем!!!.....
(1983)

15.

Встречу человека — радуюсь, расстаюсь с ним — опять радуюсь; в жизни никогда не бывает «еще тяжелее» — всегда только «еще легче». Если это не так — это не жизнь.

В любом, взгляни (куда уж там дву-личью!), до сотни уживающихся лиц; события навязывают речь, охотник маскируется под дичь, шуты под маскою тупиц... Весьма слоеный омут — естество! Течет Река. Играет поплавок.

Один Бог — еще не Един Бог, у бога такого — убого.
(1983)

16.

Один мой старинный приятель, официальный поэт, то есть выпускник Литературного института, так мучается, когда пишет... стихи! Ну, будто хронический запор у него, а он всё — тужится, тужится... В грамм добыча, в год труды! Так, кажется, классик говорил?

Я со сцены всякую душевную ахинею распевал, а приятель мой обычно

на каэспэшных фестивалях в жюри торчал. Почетным членом. Фаллическая, знаете ли, фигура. Целые народы ей поклонялись. Член партии, член президиума, член Союза писателей... А на внутренних наших пьянках мы к нашему «члену» относились вполне адекватно — с юморком и матерком. Чтоб не торчал лишнего. Он мне, между прочим, однажды хорошую гитару «прижюрил».

Цель есть во всем, расчет — не протестует. (Абсурдный бесконечен путь!) Ты к цели шел... Итог? Помянут все, когда награды вешали на грудь.

Студент в жилье не ведал тесноты, был подоконник — стол универсальный; ...ученый муж и в кабинет, и в спальню, и в коридор ковер, и — кончился. От духоты.

Жена. Развод. Коронованье! Ужасен мести план: возвысив голос до молчанья, стираю сам.

Жил и жалел, что не умно. Сын поседел. Всем всё равно.

Зовет меня (такого же когда-то) девчонка танец разделить, объять два времени, восхода и заката, — непонимаемость соединить... Вальсом подранен партнер неуклюжий: в голосе трещина, в волосе стужа.

«Пришло» вино. Друзья с веселым грузом ночь ворошат до третьих петухов. Чисты единомышленников узы средь, искусом расставленных, силков! Увы жене. Вот в бешенстве она: ведь ей бессонница — лишь следствие вина.

Я видел: впрок есть заготовленные лавры, я речь держал над рыбой заливной! Каким бы «сахаром» отметить юбиляра? Начальник он всего лишь надо мной.

(1983)

17.

Поэты просто обожают ночевать вне дома. Им тогда становится самих себя жаль совершенно особенным образом — вслух!

...В тот раз я, как и подобает истинному пииту, ночевал у друга, который недавно развелся с женой и получил в результате сложных квартирных пертурбаций «коммуналку» полезной площадью аж в 8 квадратных метров! Я тоже собирался разводиться, но на «квадратные метры» не рассчитывал — хватка не та. Поэтому просто жаловался на несчастную свою личную жизнь, ибо, обнародованная, она постепенно превращалась в особое целебное «мумиё» — горькое наше мужское счастье. Счастье же такого рода обыкновенно

на Руси очень певуче. В антрактах между завываниями под гитару мы пили дешевый портвейн. Портвейн однако кончился. Меня послали в магазин за новой порцией. На обратном пути, во дворе среди многоэтажек я случайно наткнулся на странную старуху. Она была согнута в середине тела под прямым углом и чтобы не опрокинуться при ходьбе от своей Г-образности, опиралась руками на палку-клюку, зажав заодно пальцами и лямки тряпичной авоськи. Бабка уныло застопорилась около лесенок одного из подъездов, видимо, размышляя о том, как ловчее занести ногу на ступень.

Кумушки, какие всегда сидят стайками подле домов, громко откомментировали явление: «Каждый день в церковь таскается! Сидела бы уж дома: упадет если по дороге — сама ведь не встанет».

— Бабуся, давай помогу! — сказал я, еще не представляя, как именно будет выглядеть моя помощь.

— Пятый, — внятно, как пассажир лифтеру, произнесла живая буква «Г».

Лифта в доме не существовало. Я доверил посторожить свой портфель с портвейном «кумушкам», а сам лихо подхватил бабку и поволок на руках на самый пятый... Она пальцами вцепилась в меня неожиданно сильно; я не столько ее держал, сколько она на мне висела. Наконец, дошли. Пот градом катил с моего лба. На стук в указанную дверь — открыли. Здесь тоже была коммуналка.

Бабка, снова обрета под ногами твердь, выгнула откуда-то из-под согбенной спины вывернутую вверх голову, встретила со мной глазами и произнесла текст:

— Бог тебя спасет. Буду за тебя молиться. Приходи ко мне жить, квартиру оставлю.

Потом она, как черепаха, убрала голову снова внутрь своей непроницаемой согбенности и, стуча по щелястому, давно некрашеному полу общего коридора палкой, не оглядываясь, удалилась в одну из дверей. Я замешкался. Вышли с кухни соседи: «У нее сын недавно из тюрьмы вышел, приходит сюда, бьет старуху страшно».

...Портвейн я допивал в коммуналке у друга молча. Не пелось больше почему-то.

Обмана тень за правдою в погоне. Земля одна. Различны семена. Согбенной богомолке сумку поднял... За что ж прохожего в молитвах поминать?!

Запретный плод: единожды вкус яства! Всё зримей недоступности порог. Качели замерли... Мир продолжал качаться: конца начало исчерпало срок.

Гнилье искусно ряжено в богатство. Алмаз, он и в грязи алмаз! Истлел надменный путник в латах. Ну, а пастух? Пасет, как пас!

На мостовой медяк звенит... Нужда уходит, бедность — остается.

**Проезжий в спешке счастье обронил... Нужда уходит, бедность — оста-
ется. Молитвы дни весельем извинил... Нужда уходит, бедность — ос-
тается.**

**Толпа голодная гудела, не тщась над сложностью задач. Кто дух
возвысит до предела: единоведец? иль палач?**

**Где мне найти духовного отца, виновника повторного рожденья?
Зовущего не доблестью бряцать, ведущего не ждать благодарения!
Бдеть! — завещание. Не оборотню ли мзда? Нерв памяти — натянутое
лассо! Дана нерасторжимая чета: добра и оскорбленности опасной. До-
вольно ли стать бременем столпа, ракушкой, прилепленною к днищу?
Чтоб самому когда-нибудь попасть в наперсники, что слушателей ищут!
(1983)**

18.

Люди добрые, рассудите! Мне так и кажется, что я — единственный на
Земле, кто превыше всего ценит обыкновенность жизни, ее восхитительную,
невидимую, ее совершенно божественную обыденность! Потому что все вокруг
хотят только одного — НЕобыкновенного: убийств, колдовства, празднований,
падений, ритуалов, взлетов, безумств... Только об этом хотят слышать, только
на это хотят смотреть, а многие «поспели» и до того, что сами непрочь — уча-
ствовать в этом во всем!

**Трудяга знал: «На трон не заработать». Интеллигент: «Знать
правду не дано». И оба пили. (Между ними — пропасть.) Но!!! Любим
правитель, щедрый на вино.**

**Дух человеческий растет, мужая горделиво, а тело, духа дом, тем
временем, увы, — к земле неторопливо... Но места нет взаимной уко-
ризне: убийца-дух — хранитель жизни!
(1983)**

Великодушен и не скуп на помощь в любом из дел лишь истинный та-
лант.

Как-то в руки попала книжка китайских сказок, которую несколько веков
назад написал один тамошний дядька по имени Пу-Сун-Лин. Эффект от напи-
санного получился классный: книжку с одинаковым интересом стали читать
(да еще не по разу!) и полуграмотный китайский крестьянин, и просвещенный
академик. Почему? Как получается книга-зеркало? Не кривое, в угоду време-
ни. А книга, в которой нет никакой «кривизны времен». Подойдешь к такому
прямому, бесстрастно-вечному зеркалу, поглядишься сегодня — одно уви-
дишь, завтра заглянешь — другое откроется... Кого ты там видишь, друг? Не

собственное ли движение? Или... собственное изваяние?!

А песенки, бывает, тоже по-разному действуют: в одном месте душу покажешь — в постель волокут, в другом откроешься — по морде норовят надавать.

С зеркалом шутки плохи. Жители колыбели земной цивилизации — Гималаев — попросту им не пользовались. Считали «зеркальный эффект» весьма вредным для развития Личности.

Как тесно жить! Не жить? Еще теснее! Отшельник, страх твой, спрятавшийся в смех. Толпа становится искуснее и злее, и — более не ведает помех!

Жизнь — это горькая доля. Смерть — это сладкая доля. Сладкое с горьким — вкус.

От века был ремесленником бес. Посулов пути он, незримые, объемля, накинул так, что взгляды — до небес! — взошли от душ, по горло врытых в землю. В толпе детей бескрылый серафим, пугает смехом их, как пленный костылями. В крови замкнулся страха кокаин — в год предвоенный в мальчиков стреляли!

**Лишь Богу с Богом по пути. О, Небо! Юдоль смертных: у каждой грешной паперти — то нищий, то неверный.
(1979)**

Милые люди, я вам вот что скажу: стихи ведь для чего пишутся? — Конечно, для того, чтобы кое-что подправить в себе самом. Стихи — леса внутреннего мира. Паутина. Колючая проволока. Сублимация и компенсация. Их нельзя понять — можно только «принять», либо вовсе отмахнуться. Поэтому к стихотворной Вселенной гораздо легче и сильнее тяготеют существа, владеющие по природе своей совершенно особой технологией познания внешнего мира, — они умеют отдаваться. Правильно: это — женщины. Отдаваться — значит, быть мудрым. Беда нынешних дам в том, что сей великий дар природы они попутали с другим, весьма похожим внешне, действием — манерой навязываться... А именно: вымогать внимание (обижаться, скандалить, модничать, напрашиваться на комплименты, лезть в беседу джентльменов, устраивать что-то напоказ, быть злой на виду у всех, быть добродетельной на виду у всех и т.д.). Так поэзия парящей души превращается в прозу пыхтящей действительности.

19.

Я вам так, господа, присоветую: безвредная женщина — уже польза!

Утомлен скороспелюю чужью. Как одежды, накинута спесь. Но — взгляни: на ноже равнодушья и от сердца зазубринки есть!

Печальны гении. Им в данности так скучно! Из будущего нет ни ветерка. Тих звездный час. Работа — грубый грузчик! — мгновения бросает сквозь века.

**Хотелось мне предстать перед Всевышним! Ну, что ж, стою...
Пред совестью своей.**

**О, Истина, лишённая насилия, ты гибели насильственной страшней...
Поддай плебею доступ к изобилью, и он погубит собственных детей.**

**Сухим зерном текут тысячелетия, звенят, как первозданное:
«Аминь!» Невыносимо честно прорастают дети: прощают жизнь.**

**Тот, кто чувствует «вслух», — артист. Тот, кто думает «вслух», —
чист. «Вслух» объятья — исток уз. Для любви тихой век пуст.**

**Избыток чувства шахматам помеха, учусь проигрывать в мажорной
трепотне. Партнер не понимает смеха — при черном короле и на коне!**

**Текучи были воды лет. Благослови бразды: тьма ямы неба падает
на острие звезды!
(1979)**

Все эти стихотворные «малышки» поющая, пишушая и читающая братия — попутчики по жизни во времени и пространстве — обозвали незатейливо, соединив кой-какую инвективу с вольной производной от имени автора: получилось — хулёвинки. То есть, небольшие стихотворные миниатюры, принадлежащие перу автора — Льву Р.

...Между прочим, ни к чему не обязывающее оригинальничание иногда приводит к действительно оригинальному результату. Например. Автор как раз заканчивал печатать эти бессмертные строки, когда ему позвонила одна очень милая особа, умеющая «отдаваться» автору душой. То есть, готовая слушать его бесконечные сочинения до окончательной своей женской победы... М-да.

Дама сказала так:

— Я хочу, чтобы завтра к моему приходу у тебя на кухне плавал Кошоладный Шokolот.

Я ей осторожно ответил:

— Завтра мне предстоит много работы.

Тогда она сказала:

— Упоминание слова «работа» очень вредно отражается на самой работе.

Я сказал:

— Только не приходи слишком рано.

Она поняла правильно:

— Не беспокойся. Мне, как проснусь утром, вообще кажется, что день — это просто досадный перерыв в чем-то очень хорошем и долгом...

20.

Так этот разделчик и называется: «Грустные частушки». Если криво усмехаться и при этом глядеться в кривое зеркало, — получится вполне серьезно. Вся беда жизни в том, что у нас, людей, вечно чего-нибудь не хватает: то зеркала, то себя самих... Приходится достраивать.

Не пришел с работы папа — в электричестве весь дом: ведь у папы день зарплаты, папа в дом придет потом.

У него на сердце рана, у него тоска невмочь: слишком строго смотрит мама, слишком громко плачет дочь, денег платят слишком мало, слишком потчуют друзья, слишком мало жить осталось — слишком часто говорят!

Папа взял вино попроще, у него опять — печаль: слишком правильная теща, слишком временный причал. Ночь опустится неслышно. На диване, всех бедней, слишком тяжело папа дышит, слишком мучает друзей.

**Может, что-то и не вышло; на трамвае первом — в путь! Чтобы не было все «слишком», не хватает лишь чуть-чуть. Не хватает в доме дома, даже двери на замке. Не хватает лишь короны разобиженной жене!
(1979)**

Бредить буду!

В моем мужском уме возникают время от времени любопытные картинки-схемы. Они весьма часто касаются темы антагонизма полов — «М» и «Ж». Например, на одном из банкетов, где было предложено спеть перед выпивающей публикой «что-нибудь свое, душевненькое», привиделось вот что: вечер вели двое, ведущий и ведущая. Они оба старались излучать в окружающее пространство любовь. При этом Он держал Ее как бы в «эллипсе», идущем от мужской головы и захватывающем женскую, она отвечала подобным же «эллипсом», но дополнительно «выпустила» еще одну «орбиту» — от своих бедер к его голове...

Развитие привидевшейся схемы может быть таким; это — искривленная часть известного символа — шестиугольника, составленного из двух взаимоповоротных треугольников, звезды Давида. Нижняя вершина звезды — доступная на данном этапе развития «дьявольщина», верхняя соответственно — вершина доступной «божественности». Модель позволяет с нею играть в варианты путей развития и взаимодействия. Например, глядя из нижней точки, я увижу, что «расхожусь» на какие-то противоположности, которые поднимают

вверх некую платформу — основание перевернутого треугольника, — скорее всего, это платформа ума, в принципе не годная для достижения духовной вершины, которая всегда будет маячить над ней... И наоборот: «бог» ниже вещественности, секса, к примеру, не опускается. Звезда Давида — схемка гармоничного роста. Ведущие на банкете демонстрировали энергетический «перекос», характерный для эпохи грубого матриархата.

У медведей на обеде леди-лисы, жены-ведьмы, дядя Лева в зимней спячке, Серый Волк на личной тачке... Ах, у медведей много бед: меда нет и мяса нет. Вот бы в жизни косолапой повидаться с Римским Папой! (1979)

...Встречаются как-то на планете Земля две сущности и беседуют:

— Ты как сюда попал?

— Не знаю.

— И я не знаю. Интересно, мы здесь впервые?

— Никто не знает...

— А ты сколько лет уже наблюдаешь?

— Много.

— Ну, и как? Какие они тут?

— Кто?

— Ну, эти, аборигены.

— Дурак! Нет здесь никаких аборигенов! Свалка здесь, понял! Для таких, как мы с тобой. Ты вообще-то чем занимаешься?

— Солидным становлюсь. Весомым.

— Значит, вниз пойдешь. В земле утонешь.

— А ты — легкий, что ли?

— Легкие отрываются, в небе тонут. Тоже плохо. Я так пробую: на сколько умом потяжелел — на столько же душой полегчать надо. Тогда жить удобно.

— Получается?

— Плохо и не всегда. «Болтанка» сильная.

— Когда посередине — это счастье?

— Многие так говорят... Сам видел: кто в яму свалился, а потом вылез, — счастливые.

От работы кони дохнут! Для почета есть Доска. Корнеплоды наши сохнут и молочная река... Я гляжу с крыльца на пальму: чур меня в деревне Чур! Я теперь большой начальник четырём десяткам кур. (1976)

Сейчас абракадабру скажу: мужчина уходит от женщины всегда, а не уходит он только тогда, когда она его не прокликает за то, что он уходит, и только поэтому от такой женщины мужчина не уйдет никогда, потому что он не может уйти от своей свободы.

...А вот эту песенку распевали мои друзья на мотив «Славянки», хотя имелась поначалу и собственная мелодия. Но я ее забыл. Так часто в жизни

случается. Особенно, когда никаких поводов жить, кроме каких-нибудь специально придуманных праздников, нет.

Еще поясню: «Абалу» — это такой особый сорт яблочного вина, изготовляемого из отходов консервного производства и гнилых фруктов.

Собирал этикеточки винные, коньяки слал знакомый грузин, а теперь я с великой обидой захожу в овощной магазин. Между хреном и маслом подсолнечным, там, где репчатый светится лук, — там стоит из Молдавии солнечной «Абалу», «Абалу», «Абалу».

Что же это такое вдруг дали нам? Просто ужас деревни Сонг-ми! «Абалу» для меня, как проталинка в холода — сразу после семи...

Уж давно сигарета прикурена, что имелось — пошло по рукам. Ах, как капают слезы Мичурина в благородный граненый стакан! Я иду, как министр, озабоченный, при портфеле, и все меня ждут: «Уступите мне, граждане, очередь, до закрытия — десять минут!» На «приеме» у грузчика с горем я, и на голову сыплю золу!.. Только взял он колеса истории, повернул... И — я взял «Абалу»!

А по венчику линия радуги: для души нет картины милей! А в Прибалтике яблоки падают по сухому закону джунглей.

Только вот, я не знаю, чем маяться: сообщал в репортаже спецкор, будто в этом году ожидается небывалый завал помидор! (1977)

На правах бывшего пьюще-поющего ветерана дам кое-какие пояснения для грядущих поколений. Сонг-ми — это такая деревня во Вьетнаме, которую американцы во время войны сожгли дотла вместе со всеми жителями. И еще: в глубокой древности водку малоимущим и многохотящим русскоязычным гражданам продавали по часам — не раньше одиннадцати, не позже семи. В общем, средства для демократии следовало готовить днем, а праздновать свободу — вечером. Бывало, путали.

— Надоело про волка про серого, расскажи мне про негра небелого, где живет этот самый блэк бой, с во-от такую вот нижней губой?!

— Это просто, сынок, замечательно, что растешь ты такой любознательный! Проживает тот самый блэк бой там, где нас не бывало с тобой.

— А в газетах писали, что якобы черных братьев кусают собаками... И работы у них — будь здоров! Потому что там нет тракторов. И у них ананасы там водятся, дети с белыми пятками рождаются, выдает неграм «их благородие» регулярное, в баксах, пособие...

— До чего ж ты, сынок, любознательный! Факт пособия? Факт... Отрицательный! Чтобы неграм в Чикаго не мучиться, приезжают нехай. И — поучатся. (1977)

А еще как-то решили меня, провинциального журналиста республиканской «молодежки», поучить однажды уму-разуму в Москве. Поселили в ВКШ —

высшей комсомольской школе, дали срок — три месяца. Жили мы, российские оболтусы, вместе с иностранцами. Песни пели. Дядьки какие-то за нами всё следили, как положено. Подымишься в четыре утра похмелье душем снять — стоит обязательно рядом в душевой голый «агент», молчит, в беседы не вступает: инструкция, видать. А иностранцы наших девок всё тискали, многие забугорные парни даже плакали, когда расставаться время пришло. А наши до ихних девок даже взглядом не доставали. Недоступно себя вели мамзельки. Пиво по утрам не трескали, всухомятку хлеб с невареными сосисками не ели. Так что нашим мужикам оставалось одно — традиция, жидкое счастье.

(на известный проеврейский мотивчик)

Эта школа ЦК комсомола, ЦК комсомола, вам говорят: ВКШ налево, «Гастроном» направо, ночью пьют, а утром спят. Наши дамы в поисках Адама, а по коридору, аки гад, вместо «шуры-муры» ходит пьяный Шура: шаг вперед и два назад. И звенит посуда, наша и «оттуда», люди понимают: это — яд. Некуда податься, незачем скрываться: где же ты, центральный аппарат? Галя полюбила Федю из Манилы, Федю из Манилы, вам говорят! Есть такой обычай в городе столичном; где теперь ты, Федя, негр и брат? Глупый дядя Лева смотрится сурово, очень неизвестно: что он рад? С общего понятия ходит на занятия шаг вперед и два назад. В общем, в этом месте очень много чести, где-то даже рядом шах и мат... Будете проездом с кошельком облезлым, коллектив — не ректор: будет рад! (1980)

Смею заметить, что во всех священных писаниях так и говорится: воды, мол, души моей... И говорят так — исключительно мужики. В земной жизни эти самые «воды» (если они не океан, конечно) без формы растекаются, превращаются в грязную какую-нибудь лужу или уходят в песок времен. Выход прост: спасают мужиков женщины! Да не все женщины подряд, а только те, кто могут «держат» форму, а уж «бесформенный» туда — только бульк! Кому тазик достанется, кому самовар с краником, кому резной кувшин. Как повезет.

Без формы душа не поет. А в форме — пожалуйста! В тесноте — тоскует и высокохудожественно стонет, в просторной форме — плещется, как дождь в радуге.

В нашем мужском деле ведь что главное? Правильно: чтобы форма всегда соответствовала содержанию. Ведь не всякий же сосуд будущего выдержит, к примеру, ядовитые «воды» нашего прошлого...

21.

У меня дружок один есть закадычный. Интеллигент, но песенками тоже балуется. Не для дела, а так, между делами. Я нарисовал его словесный портрет: точка, точка, запятая, утром рожица кривая.

Полжизни прожито, ума не нажито, «аванец» пятьдесят рублей...

Горит без удержу душа бумажная, а мимо девочки таких кровей! Полжизни прожито, полцарства роздано. Постель холодная одна моя... Летят журавлики, а я неопытный; разбилась вдребезги моя семья. Полметра комната, друзей полгорода, соседям песенки не по нутру... Характер-золото имею смолоду: покуда пьянствую, я не помру! Имею дело я. Доходы левые. «Сю-сю» сердечные — нормальный ход! Ведь я не чувствую шипы и тернии, сорю «червонцами», как самолет! Полжизни — боже мой! — мне бы покаяться. Дорога дальняя — велосипед. Твердят, мол, ветреный, а мне так кажется: шикарный юноша преклонных лет! Отрежу бороду, надену кепочку, вам ручкой сделаю «большой привет»: прощайте, мальчики, встречайте, девочки! — еще не кончился судьбы куплет! Полдела сделано, полжизни прожито: диплом филолога, интеллигент... Дарю поклонницам цветы с мороженым: полжизни нажито — какой момент! (1979)

Пародировать жизнь друзей — творчество своеобразное. Это — украшение скучной predeterminedности бытия, ну, навроде татуировки в зоне при пожизненном заключении. Искусство и красота для посвященных! Вообще-то русалок в природе ведь нет, а на груди пахана — пожалуйста! Так и в быту: дорисованная жизнь опережает настоящую. В этом ее инфантильная непобедимость и сила. Пародируя характер, находишь характерность. Однажды стайка талантливых алкоголиков из нашей конторы подалась на Север. На заработки и для дополнительной личной биографии.

Ни подарка, ни премии за год мне. Отбываю! Ку-ку, ненаглядные! Молодежь ваша дикорастущая пусть начальничков режет и кушает. Пусть еще пособачатся бабоньки: мол, неправильно, премию надо бы... Только я уже — ломтик отрезанный, на контору любимую хезаю, где по стенкам пришпилены надписи: перевыполним, дескать. Ан, на-ко-ся! Я сегодня пью пиво с таранью, пусть другого ведут на заклание. Что за деньги сто тридцать с копейками? Не пацан, мои годики тренькают! Мебелями друзья обзаводятся, а со мною — лишь жены разводятся. Иванцову — Почетная грамота. А меня людям кажут, как мамонта! Нету в людях участия толики, обзывают меня алкоголиком. Уж отмечен наклонным скольжением. А живу — как в кино! — с продолжением. Видно, кончилась «первая серия». До свидания. Еду на Север я! (1981)

Накидывать выдумку на ближнего сложнее, чем на того, кто в отдалении. Слухи, пересуды и легенды за время пути, разумеется, сильно увеличиваются. Любой рассказчик этим охотно пользуется. Одинаково «питательны» в этом отношении и пространство, и время. Например, за время двухтысячелетнего путешествия какой-нибудь местный слушок запросто может вырасти в миф фантастических размеров. Современники не могут путешествовать во времени (тогда бы их мифы носили печать чрезвычайной серьезности); зато

они путешествуют в пространстве, что само по себе свидетельствует о жизне-радостной глупости «вечных пионеров» и небезопасном для здоровья романтизме.

А ну, эй, ты! — подай портянки, курва! Бугор хилает к теще на блины... Мне Левитан желает: «С добрым утром!» И жизнь блатная ласковой жены. Запой. Забой. Сейчас не до похмелки! Нельзя страну оставить без угля. Огонь души — окурками в тарелке — дымится, мля, в предчувствии рубля! Протри очки: кто нынче на подхвате? Ударный труд в почете у рвачей. Любимой Родине, как девочке на платье, подарит люмпен новых Ильичей!

Разбита дверь и погнута кабина, и что ни морда — чистый Фантомас! Зато я здесь верчусь, как балерина, в коже и замше с надписью «Техас». Звезду Труда на фикса золотую мы переплавим: пейте, кореша! Душа поет. И нас не завербует рука Кремля и лапа США.

Судьба-мадам! Я к вам — без притязаний. Мне сердце ест полярная зима. В такой дали от «ценных указаний» я набираюсь заднего ума! (1981)

Грустные частушки — это такое личное «самолечение». Разрушиться, чтобы возродиться. Метаболизм эмоций и чувств. Старые чувства должны умирать, чтобы уступить место новым. Иначе жизнь замрет, остановится. Я читал ученые книжки: разнообразие в природе обеспечивает тот, кто разрушает. Живая природа из-за этого вынуждена эволюционировать, вечно катиться куда-то... Нельзя же сказать, глядя на колесо, что часть его, идущая снизу вверх — «хорошая», а опускающаяся — «плохая». Всё куда-то катится не по частям, а целиком. Колесо нам не постичь. Оно в наших символах до конца не вычисляется. А вот плохая дорога запоминается надолго и в деталях.

Ох, вы годы мои, годики! С позолотою облупленной, с позолотою облупленной — не продажною, не купленной! Годы, годы мои, годики! На качелях раскачались, на качелях раскачались... Да, видать, проворовались. Годы, годы мои, годики, мои часики да ходики, убегающие ходики — заведенные мои!

Жили-были-пили весело! Уходили — не печалились, хоронили — не печалились: погуляли, да отчалили! Обманули нас и ладушки! Переборы безоглядные, переборы безоглядные, раскудрявые, нескладные...

Годы, годы мои, годики пошутили, да и канули, пошутили, да и канули: прослезиться бы, да надо ли? Так и быть, кривая вывезет! По невесте не соскучился, по невесте не соскучился: полюбил, да — перемучился! В хомуте душа тяжелая! А дорога поперечная, вся дорога поперечная, точно саван — подвенечное! Лета хмарь и снега зыбкие — развеселые картиночки! развеселые картиночки! — поначать бы, да всё иначе!

Ох, вы, годы мои, годики! Посередочке накрылися, посередочке накрылися — не туда оборотилися! Годы, годы мои, годики, мои часики да ходики, пе-ре-ло-ман-ны-е ходики, заведенные мои! (1978)

Когда печать поставили, мы с нею целовались: семь лет с гадюкой ссорились, потешились — расстались. Теперь она, свободная, живет в моем углу, а я, как тварь безродная, ночью на полу.

Дозрели наши ягодки, — семь лет росли они! — надел ботинки на ноги иуда-семьянин. Кому еда бесплатная, кому ночлег в тепле... Мою гадюку лапают, бутылка на столе!

Приснилось мне, ребяташки, веселое житье: семь лет ворочал камушки и вспоминал ее. Ее, такую чистую, любезную мою, подругу голосистую, проклятую змею!

Поплыли наши лодочки, да в разные края. Семь лет плескалась водочка, куражилась змея. Писала заявления, считала синяки — такое вот «веселие» до гробовой доски. (1977)

В России нельзя надеяться на лучшее. Это не страна — это тюрьма. Причем, в мире считается: страна воров и самовлюбленных дураков. А вот и нет! Воровство зиждется на понятии «собственность», чего в России никогда не было. Здесь легко могут отобрать и вещи, и мысли, и душу, и детей, и саму жизнь. Не своровать, а именно: цап-царап! Потому что здесь процветает рабство. Рабовладельцу незачем воровать — он просто берет то, что берет. До воровства мы, как нация, еще не доросли. Зато «персональный рост» моих благородных друзей этот рубеж оставил далеко позади. Нам нечего было терять, потому что мы оставались невидимы для надежд. И нечего, и незачем было брать. Как говаривал один из наших ёрников-идеологов: «В пьянке незаметен!»

Утром Сомов болел, дома Сомов не спал, до обеда — терпел, до субботы — гулял. Промотал «полкуска», заслужил «строгача». А на сердце тоска, на бумаге — печать. В «трезваке» побывал, поругался с женой. Всё дурней голова, всё дороже вино. Он друзей обошел. Он прохожих пугал: «Помереть хорошо б, да, видать, опоздал...» Поутру возражал: не виновен я, мол. Как на острый кинжал, на обиду пошел!

И в окно лазил он, и сигал из окна, даже одеколон выпил как-то до дна. Ах, орлы налетят: объедят, обопьют, посидят, погундят, надымят, наплюют. Был бы он не женат, не хужал бы на вид. Сомов — бравый солдат! Баба — старый бандит! Он в раю не бывал — льни, петля, на кадык! — Сомов пить «завязал»... Вот какой был мужик! (1976)

Промахи судьбы мужчины объясняют значительно лучше женщин. Пото-

му что так устроен мир: одни специализируются в объяснениях, а другие — специализируются в требованиях. Давно замечено: хорошему человеку бог обязательно присылает стерву. Хотя бы разок-другой. Осечек в этом деле у небесного «диспетчера» не бывает.

То ли дело было раньше: бабы были хоть куда! Даже если хулиганишь, не гнали за ворота. На столе дубовом четверть, на полатях старики; женихались без колечек — не сбегали женихи. Баба мужу подносила, мыла, стряпала, мела, и на шубу не просила, и за горло не брала.

Время то, и время наше... Нынче бабы — господа! То ли мало ели каши, то ли водка — не вода. Вышел голым за ворота: припугнули, понесли из постели на работу, вокруг пальца обвели.

Не додал «козел» получку, баба прет по головам! По закону эта «штучка», как ни выверни, права. Терпит гадости бумага, грудью бьются мужики: как медали «За отвагу», все приводы в «резваки».

Не с печатью кастеляншу — жизнь неладную суют... То ли дело было раньше с бабой первобытной: выпил ты, по крайней мере, лег и спи себе в пещере. (1976)

Любителям русских потрясений мне нравится рассказывать — в качестве наглядного примера и аналогии — всем известный физический опыт с магнитом, листом бумаги и железными опилками, которые, как их не перемещай и как их не «потрясай», всё равно выстроятся по раз и навсегда определенным силовым линиям...

Проходная моя, проходная, мне сегодня тебя не пройти. При нагоне охрана родная: пропусти! пропусти! пропусти! Ах, судьба моя, женщина злая, у нее не болит голова. Проходная моя, проходная, оборвали мои рукава! Расспроси ты меня полюбовно, как мне в образе жизни такой? — Как блатной элемент уголовный, я стою у небес проходной... (1976)

Для юной советской шпаны существовало очень мягкое определение — «трудные подростки». Вообще-то любое общество рождает определенное количество людей с повышенной энергетикой, лидеров. Главное, чтобы вектор бытия — указатель «куда жить?» — не смотрел вниз. Проверено: куда эта невидимая стрелочка смотрит, туда путник жизни и топает. Нестандартные личности идут очень далеко. В президенты или в паханы. Одного поля ягодки, собственно... И была в стране система перевоспитания «трудных»; наставникам молодежи вменялось в обязанность подправлять стрелочку-невидимку.

Во взрослой жизни мы, многие, продолжали играть в детство, были «трудными» переростками. С бутылками, кострами и гитарами. Наш вектор движения устроил себя особым образом: он «загнулся» в кольцо, в круг друзей и единомышленников. Мы, как спортсмен на стадионе, пыхтели и ускорялись, но в принципе никуда не могли уйти. Внутри кольца было очень хорошо.

Безнадежно хорошо.

Много позже я сообразил, что слеты, турпоходы, путешествия, лесные биваки, сельские приключения, — всё это «поход в землю». Вниз. В никуда. Это направление не имеет перспектив для самореализации, здесь нет внешней образующей культурной среды. Это — путь самозабвения в кругу «самозабывшихся». Коллективность продвижения кажущаяся. Бег по кругу. Как в религии.

Это уж я потом-потом-потом очень рассердился на «трудных переростков». А тогда... Очень даже нравилось!

Родился я, представьте, не в «рубашке». А в чем? О том теперь сказать неловко. Врачи младенца поднесли к мамаше, а он — вы не поверите! — в штормовке! И с той поры, что было силы-мочи я заблажил дурные песни громко. И в День туриста звонко напрозорчил День космонавта и День ребенка... Как лев, боролся с вредным никотином! И у костра, бывало, кашлял тяжко. А ведь в учебнике картина есть: скотина — вы не поверите! — подохшая с затяжки! Мне говорили: кушай, будешь толще. Но мамы с папою забылись речи. Я в рюкзаке ношу, ну, как святые мощи! — чего попроще, зато покрепче! Так надрываться не захочешь и за деньги, но знаю точно я, что есть моменты... Ведь, как собаки, спят себе на сене, — вы не поверите! — вполне интеллигенты. Всё потому, что уродились не в «рубашке». А в чем? О том теперь сказать неловко... И вот теперь расхлебывайте кашу — и на Памире, и на Булычевке! (1976)

Перед фестивальными концертами принято было выступающих «прослушивать». Заседала специальная комиссия из наших же ребят, которые изображали из себя не то чтобы мэтров, — входили в их роль, напускали на лица ответственность. Худо-бедно, заранее составлялась программа концерта, становился понятным расклад творческих сил и уровень исполнителей. Обычная практика на подобных мероприятиях. Исключение из правил составлял я: меня не прослушивали — меня пронюхивали. В то время появиться на сцене трезвым я не мог. Как-то не получалось. Вот и пронюхивали в обязательном порядке, но если на ногах держался еще без посторонней помощи — выпускали. Особо боролся за чистоту рядов поющей гвардии хирург Петя. Тогда я отомстил ему песенкой. А еще через двадцать лет он жестоко отомстил сам себе — алкоголизмом и рухнувшей личной жизнью.

Ох, как смотрит! Чтоб он выжил! Ну, держитесь, будет цирк: нажимаем слева — грыжа... Справа? — А-а-а-а-а! — аппендицит. Приступаем к эмпирии, что тут, брат, не говори — по предмету «хирургии» точно помню: было «три». Кал с мочою перепутал, с крестовиною крестец: «Начинайте утро стулом! Не присядешь — не жилец!» Потерпи, друг, не на дыбе! — залатаю, застрочу. Фифти-фифти! Либо — либо. Только ножик наточу!

И, с утра кофе испивший, эскулап, борец за жизнь, пациенту орган лишний острым ножиком отгрыз! Думал так: к сестричке стройной, кончу дело — подкачу... А «клиент» лежал спокойный, душу отдавший врачу. (1976)

Хотелось бы мне знать, кто таков «властвует», разделив нашу жизнь на «общественную», «трудовую» или «личную»? Невольно приходится сравнивать жизнь с жизнью: на работе и дома, например. Везде фигово. Зато поэтическим образом можно сопоставить иррациональное: жизнь с не-жизнью. Получается тоскливо, но сладко. В этом — кайф!

По пьяному делу я девушку эту не то, чтобы «склеил», сказал, что люблю. Не хуже пижона в законные жены позвал молодую и взял за соплю. И вот я с тоскою гляжу на мужское, гляжу на мужское начало свое... А вдруг эти муки во имя науки? — Рыдаю над луком, стираю белье. Не копятся «мани» с двоими детьми, одна половица в доме у меня! За правое дело на шею мне села и в спину толкает змея родня. По пьянке, по пьянке, поганки, поганки... Гляжу в кузовочек: одно барахло — пустые бутылки, синяк на затылке, да выбито в двери балконной стекло. Живу, как в театре. Мои психиатры меня утешают: «Пока поживи!» Живу и страдаю, страдаю и знаю, что нету законов о нашей любви. По пьяному делу я девушку эту не то, чтобы «склеил», сказал, что люблю... Спасите пижона: ни денег, ни дома! Кусаю я локти, мозгой шевелю. (1976)

Еще одно оригинальное замечание. Знаете, я перестаю узнавать женщину, если она вдруг изменила наряд или прическу. Это феноменально! Вместе с другой прической у женщин полностью меняется и представление о себе самой! А я, видать, опознаю тетенок именно по внутреннему образу, а не по внешнему. Много конфузов пришлось пережить из-за этого. Жену несколько раз не узнавал. Она думала, что я издеваюсь.

Перехожу к глобальному. Страна Россия — женщина, склонная к переодеваниям. Узнавать со стороны нас просто невозможно. Ничего постоянного!

Я принят был на должность подпевалы. (Не то, чтоб с голосом: семью пора кормить!) Мне дали партию, советы, сцены, залы, сказали: «Пой!» И — запретили говорить. Я выполнял все требованья жестко. Был дирижер уже с одышкой, но — король! Мы пели ревностно, всем хором — это просто! — «Ля-ля-ля-ля...» — без нехорошей ноты «соль». И как шахтер заслуженный, из ямы шумел оркестра облысевший ветеран. Здесь петь по-своему — рублям одни изъяны... На то и партия, пюпитр и та-ра-рам! В театре жизни бродят «вышибалы», король с нечистым уже шепчутся: вась-вась. Успел спросить я лишь: «Эй, кто тут запевала?» А хор кивал, как по команде: «Pppрас-читайсь!» (1976)

Иван и Сэм живут через дорогу: у Сэма — дом, у Ванечки — изба. У Вани есть собачка у порога, у Сэма есть подзорная труба. Нельзя Ивану к Сэму с ночевойю, не может Сэм к Ивану на чай, — разделены невидимой чертою Иван и Сэм на «ваши» и «свои». Иван один садится на качели — окно в окно! — до Сэма три шага... Иван и Сэм увидеться хотели, Иван и Сэм — два уличных врага! Иван соседу метит из рогатки, из-за угла Сэм кажет языки, и, как неатмосферные осадки — через забор летают матюки. Азарт и злость границы перегрызли: Иван и Сэм — квартальная шпана. И терпеливо смотрит мальчик Изя: чья победит, однако, сторона? У Сэма дом Ивана на прицеле, сосед Иван чему-то учит пса... Иван и Сэм на... Изю налетели! — Ай-яй-яй-яй! Такие чудеса. Глядит Иван опасно и строго, угрюмый Сэм с кокардою у лба. Иван и Сэм живут через дорогу; у Сэма бункер, Ванечке — труба! (1984)

Ушли с комодов слоники, разбили кису с денежкой... В машинах едут гомики чукотские, поверишь ли?! Такое время странное, почти не настоящее: знакомства ресторанные, а школьницы пропащие! Образованье среднее. Ну, в общем, тоже комики, — такие малолетние в наколках уголовники! К подъездам жмутся бабушки, судачат, увлеченные: «Какие были ладушки! Теперя все ученые». Шагами семимильными бежит благополучие: блядешки сексопильные о жизни заканючили! Навыворот наладили аспекты алкогольные — серьезные приятели «БФ»-ы пьют подпольные... Вот с виду очень смиренные (на самом деле — рьяные!), скупил «Ювелирные» цыгане окаянные! Куда, однако, катимся, товарищи хорошие? Слонов бы нам — по записи! — на мясо... Аль — по лошади! Кругом магнитофонное, аж телевоспитание, и джинсо-панталонная забавнейшая мания! И пульс не учащается, и весело уму: влюбленные общаются, как парочка «му-му». Нечитанный — от корочки! — в обиде, в тесноте, нехай стоит на полочке Антоша Чехонте! (1984)

По документам я нечист и непригляден: не в первый раз участвуем в «житье»! Ведь если в прошлом был, браток, неладен — ты у грехов пожизненный рантье. А жизнь, она всегда — экспериментом: за твердым «плюсом» «минусы» легли. И призрачно-огромным монументом дела стоят, как голые нули. С подобострастием анкеты заполнялись. Не для меня занятие сие! До кадыка чужие руки рвались — не взяли, да заполнили досье! Вот-вот мечтателей прибьют к бумаге штампом! Ломаемся, как лес, по одному. И плодоносит под направленную лампой язык — в документальную тюрьму... Иной потешится: мол, сам себе хозяин! (Не в первый раз участвуем в «житье»!) Считай, без разницы: молчим или базарим — ты у досье пожизненный рантье. (1984)

Царь надел свои награды, золотишко тянет вниз: «Сила есть —

ума не надо!» — наш девиз, девиз, девиз. Царь мотается в «загранку», аплодируем на бис! Ах, Расея, ах, пацанка: согрешила — помолись! Сила есть — ума не надо! Как на станции Агрыз жил бабай, как бай, у бабы, кобылячий пил кумыс. И в далекой деревеньке мужичонка прозябал, как-никак, — пятак не деньги! — за пол-литру отдавал. В том огромном государстве помереть нельзя без виз... В трипроклятом нашем царстве: сытый — вверх, голодный — вниз! Кто в царя плюется, гады? Тут конфуз или каприз?! «Сила есть — ума бы надо!» — наш девиз, девиз, девиз. (1984)

Сотрясать воздух можно сколько угодно. Проходят десять, двадцать, тридцать лет... Перемен вокруг хоть отбавляй! А ничего не происходит с самими людьми. Актуальность текстов остается. Большая история тоже подтверждает: Салтыков-Щедрин, Гоголь, Фонвизин — живехоньки и насущны. Признак для страны очень нехороший: если сатирические, памфлетные тексты, словесное отражение бытия не устаревают — это самая плохая «вечность». Страна мертва. Она любит только мертвых своих героев и противостоит живым.

Отчего загоревал? Деньги ль на исходе? Как вопросы задавал, так ответ — по морде! Само-знамо, говорил разное такое... Кто пахал, а кто кутил? Что-то нет покоя! Почему, не понимал, рыльце не в корытце? А майор запеленал факты — во страницы. Любопытство не порок, видишь ты, как вышло: спросишь раз — тебя в острог, а ответишь — «вышка»! Сна и воли не дает вирус вопрошанья: почему, когда вперед, путают вожжами?! Тут невыгодный расклад! Выгода в кармане у того, кто кум и брат Главному Папане... Кто поведает о том, чьи катаем санки? Слухи дергают хвостом во швейцарском банке! Любопытство лучше брось, голова дороже! По одной дорожке — врозь! — убогие и боже. Где похерили Талмуд, кровью обещаешь? Рубашонки шею жмут: вешайся, славяне! Что ни слово, то вопрос. На дворе в субботу домино колотит «SOS!» — стукачам работа. Любопытство — не порок... Голос на исходе: жизнь, веселая, как срок, — не чужая, вроде. Каравай, давай, не жмоть, подгорелый трошки. Как отрезанный ломоть полюбили крошки! Встану утром, обойдусь, криво, да не косо! Поблажили, вот и пусть: кончились вопросы, начались — допросы. (1984)

Возможно, на земле места распределены в соответствии с их качественным предназначением: где-то удобнее реализоваться технологически, «сделать» себя, дом, карьеру, историю, предметы науки или искусства, а где-то в другом месте — проще «сделаться» внутри себя, не особенно заботясь о сделанности вокруг... Последнее — несомненно, русский вариант. Теоретически. На практике почему-то другое: ни сделать, ни сделаться.

Много пришлось поколесить по районам. Скучное это занятие — искать оптимизм там, где нет перспектив. Сидишь, бывало, в нашей редакционной

«старушке», трясешься на проселках и трассах, а мимо — таблички, указатели проплывают, как в кино. Свернешь по указателю, там тебе, конечно, рады, вдохновенно рассказывают: одно и то же, одни и те же...

В колхозе «Свобода» свободы нема, зато «пендюли» раздают за дарма. В колхозе «Россия» живут вотяки, умеют по-русски одни матюки. А в поселении «Путь Ильича» живут два еврея и три стукача. В деревне Балдейка балдей-не хочу! На тракторе еду в колхоз к Ильичу... И в «Старом Какможе» мужик занемог: пополз к сельсовету и лег на порог. Гляди, как ни плюнешь, дырявый наш рай: голодное место, устиновский край. Знакомый татарин сказал: «Киль манда!» — Уеду к соседям: отсюда — туда. (1984)

Всё отлично! Всё прекрасно! Руки-ноги ходуном: как приспичит, мы за красных, как отпустит — за вином. Может, сяду, может, встану, то болтун, а то ишак. Усквозить бы в дальни страны с кошельком не натошак. Были предки, пели славу! Только Стенька не придет... Только клетка, да отравы. А отравы нынче — мед! То ли к Пасхе ананасы, то ли мать-перемать... Шахер-махер! Вновь — за красных! Дальше некуда бежать. (1984)

Никакие, к черту, это не песенки! Это — месть. Это — говорящее бессилие. Проклятие для проклятых, которое скорее питательно, чем вредно. В России профессор печали — фигура заметная и уважаемая. За это и деньги дают, и на скамейке подсудимой нашей истории местечком делятся.

Бубним, бубним каждый свою «считалочку»... На выбывание.

Когда одни кричат, все, как один, молчат. Все, как один, молчат, когда на них кричат. Когда одни поют, другие слезы льют, другие слезы льют, когда на них плюют. Когда вокруг таят, — одни, как все, подряд, все, как один, подряд об этом говорят. Когда одни в «верхах», другие в дураках, в огромных дураках: с умом гуляет страх! А те, одни, молчат: как будто бы кричат. А те, кто не кричат, старательно «стучат». Зачем одно для тех, когда оно на всех, оно всегда — на всех... Опять не вышло. Эх! (1983)

Да, да!!! История в России — это самый настоящий рецидивист! Убийца, вор, насильник и шарлатан. Только осудят, только упрячут ее, куда следует, ан, нет, правительствишко сменилось — с амнистии, как повелось, править и начинают. Выйдет опять на волю родимая наша злыдня, зевнет громко, потянется, да не спеша осенит несатытым взором знакомые уголья: «Пора на дело!»

Анекдоты ползут, анекдотики! Алкаши надорвали животики, потому что в любом анекдотике — голый смысл сидит на экзотике! Анекдо-

тики есть про эротику, про политику есть и наркотики, и про чукчу — классичнее готики! — популярные есть анекдотики. Тянут эту «баланду», как хвостики — в паровозики, в самолетики. От Прибалтики аж до Чукотки — анекдотики всё, анекдотики! Передохни олени и котики, — анекдотики нам, анекдотики! К позвонку прилипают животики, — анекдотики всё, анекдотики! И сидящий народ, и работники до веселых историй охотники: про грузина, раввина и жмотиков — анекдотики лишь, анекдотики! Воспитанье семьи, патриотики... Что ни тема — одни анекдотики! Корабель наш, от киля до клотика, в анекдотиках весь, в анекдотиках. (1984)

ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Само собой получалось примерять на себя чужие жизни. Пробовать не свою судьбу, чтобы понять чужой нравственный опыт. С детства в доме я видел культ хлеба: крошки со стола родители доедали, за небрежное обращение с куском детей наказывали очень строго. Официальная пропаганда совпадала в своей интонации с тем, что говорилось в стенах родного дома. Поэтому привычка подставлять себя под чужую судьбу оставалась и во втором, и в третьем послевоенном поколении. Хорошо это или плохо? Не знаю. Времени на бумаге нет. Источником фактической информации подобные сочинения-сообщения, конечно, не являются. Скорее, эмоциональные картинки, упражнения, внутреннее эхо воспринятых событий и наставлений.

Война, вера, родина, патриотизм — темы скользкие, конъюнктурные, за них всегда кем-нибудь назначена государственная цена. На эту цену следует наплевать раз и навсегда. Потому что важно совсем другое — внутренняя ценность этих коротких слов в тебе самом. Жизнь одинаково зашифровала их для всех, чтобы каждый мог развернуть тему на свой лад.

На дороге ни зги, под ногами течет, командир не припомнит: где наши? Молчаливее Бога и злее, чем черт, — замыкающий, ангел на марше.

Он по чьим-то следам из бессмертья идет — за огнем, за сухой папиросой, он бескрылой спиной прикрывает отход, наплевав на «план Барбаросса»!

Только что говорить, если время молчать, если стрелки часов спотыкнулись? Он печатает шаг, а штабная печать именно «печатает» пулю.

Там, где сжато кольцо, права выбора нет: можно драться в любом направлении, можно даже взобраться на постамент — за чужим рубежом укреплений.

Затопляла война, как большая вода. Третьи сутки, в кольце окруженья, замыкающий спит... Чтоб теперь — навсегда! — находиться в

обратном движении.

Он уже не спешит из бессмертья домой. А кольцо окруженья всё уже! Это был не последний «решительный бой», замыкающий больше не нужен. (1977)

По жизни мне довелось неоднократно «акушерствовать» воякам-старикам, помогать им умирать: выслушивать исповеди, в последний раз волновать и в последний раз успокаивать их душу. Ассистировать при переводе человеческого взгляда с предательских земных «цен» на непреходящие ценности.

Дело это муторное. Человеческая жизнь тоже ведь не имеет цены, если она не скопила в себе ценности. Подлое наше государство играло и играет именно на этом. Страшно понять перед смертью: пусто внутри!

Отец с хохотом рассказывал фронтовую прибаутку: «Прибыл солдат с войны на побывку домой, докладывает соседке: в лоб пуля попадет — отскочит, в рот попадет — проглотит... Уехал солдат обратно. А соседка молится: попади моему сыночку пуля в лоб!» Я любил отца и мне было жутко от того, что он всё это мог произносить. Когда умирал, а умирал очень мучительно, всё причитал: «За что мне эти муки? Никого не обижал, жил по закону, за что?!» Сердце на куски рвалось — слушать горесть. Куда я это дену теперь? Как сам умирать буду? Во мне «отцовский след» сидит, как осколок!

Из «первых рук» всё переходит во вторые, но где же истина? — не знаю, право, я: славянам Русь досталась от Батыя, и Гитлеру, извольте, ву-а-ля! Он долго шел, тикали наши папы до самой до столицы, до Москвы! А в это время кое-кто «покапал» и — полстраны не досчитались головы!

Жила страна в руках интеллигента, и в бой ходили танки марки «ИС», в тылу врага работали агенты, а беженцы в Сибири прижились. Растили хлебушек и сеяли махорку мужские руки будущей вдовы. И легче плакалось, когда рыдали хором, и дольше верилось, когда копали рвы...

Когда ж потом за Днепр ушли и Вислу, когда Рейхстаг от надписей пестрел и календарь добавил «красных» чисел — «отец народов» вспомнил про расстрел! Из «первых рук» всё переходит во вторые, но где же Истина? — не знаю, право, я: мне по истории поставили «четыре». А Сталину, извольте, ву-а-ля. (1977)

Не засматривайся на то, что уже сделал, а то не останется сил смотреть на то, что еще не сделано...

История такая. В поселке Валамаз пекарь был потрясающий, хлебом поселок на всю округу славился. Еще в том же поселке жил старый-престарый дед, бывший смершевец (чекистская организация во время войны — СМЕРШ, «Смерть шпионам»). Раскопал этот дед подноготную хлебопека — полицаем тот служил на Украине в лихую годину. Приехали военные и увезли бедолагу судить. А война-то уж закончилась, считай, лет сорок назад. Всё равно: судить! Не стало в поселке хорошего хлеба. Дед сам рассказывал мне свою по-

весть, азартно смоля махру и хлопая себя по коленкам: «Что делали, бляди, что делали!» Глаза рассказчика горели, над головой клочками тряслась и топорщилась седая шевелюра. Врезался в память яркий его рассказ и о трехсуточной снежной дуэли во время финской, когда «сидели в ямах, как куропатки». Дед был счастлив собой необычайно, просто светился весь: «Что делали, бляди, что делали!»

Я делаю «пас» рикошетающей пулей, а мне отвечают, мне тоже «пасуют»! И так мы играем, пока не убью я врага поневоле — партнера, по сути. Уставшие страны, пропавшие жены, в мартенах расплавили наши деньжонки, — сидим, не до жен нам, огня не зажжем мы: кругом напряженность, враги и воронки. Напротив такая же жертва приказа, лежит, не шелохнется, жив ли, зараза?! Я делаю «пас» одиночным и сразу он мне отвечает... Промазав? Промазав! От Белого моря до самых Кавказских — Иваны да Гансы, и касок, как в сказке! И лишь амбразур черно-красные глазки мигают гвоздиками будущих братских.

От боя до боя жив скукою ратной. Ни шагу назад: в медсанбат и обратно! И снова мы вместе, друг к другу прижаты, вдвоем с автоматом, как два автомата. Великое время с любым поколеньем! Где наше величие? Захоронения. В шинели оделось мое население, — дорога другая ко дню Воскресенья.

Не камень на камне, на сердце тревога! Дорога ТУДА — как дорога до Бога... В награду за веру гвардейская тога, три залпа по Богу и — снова дорога! Ни больше, ни меньше — война мировая: она так любила, как девочка злая. Герои парады, как спирт, открывают — за тех, кто стрелял и кто снова стреляет. (1977)

Сначала что-то заставило меня написать все эти слова. Прошло довольно-таки много времени. Теперь я перечитываю написанное и непременно вспоминаю первоначальное «что-то». Оно — главное. Невысказанность, несущая в себе понимание.

В Польше, отец рассказывал, их бомбардировочный полк квартировал недалеко от хутора, где были: пан, пруд и карпы. Офицеры поступили вежливо. Послали моего будущего отца спросить у пана разрешения — порыбачить. Пан согласился. Тут же подняли в воздух самолет и сбросили на пруд фугаску. Не единожды за свою жизнь отец, со слезами на глазах, рассказывал, как владелец хутора не проклинал «озорников» — стыдил.

Много наших легло, а врагов полегло еще больше. Что у нас на обед? На обед, извините, свинец. Что под нами горит? Плачет панская Польша. Неужели конец? Неужели — конец. За столом — никого, никому уж сто грамм «боевые». Эрликоны достали, и друг не щадил самолет. Не смотрите на снег, я прошу: разрешите мне вылет, разрешите реванш, к озверевшему богу полет. Бросьте рацию, всё равно пусто в эфире, бросьте, милый мой штурман, смешить экипаж. Нам бы им отомстить,

уцелеть бы в заоблачном тире: этот мир был чужим — пусть теперь будет наш. Много наших легло, а считать — никого не считали! Ордена осветили вдовеющий тыл. Всё нормально, старик, мы свое отлетали: до сих пор на часах — часовыми! — чужие кресты. (1976)

Война все-таки очень желанна! Смерть позволяет геройствовать даже после того, как ее праздник закончится, останется в прошлом. Идея войны придает оплакиваниям смысл, а цивилизации оправдание. Люди в этой игре ни при чем. Рулетку истории крутит выдумка, прихоть идей.

И встанем, как один, и скажем после драк: и кто России — сын, и кто России — так... Гранит — дитя побед, земля — дитя небес. Был короток твой след, был доблестным оркестр! Где слава, там и боль, где память — время вспять. Где правда, там и бой, да страшно умирать!

Иной придет рассвет, тиха твоя постель, иной, как ты одет в походную шинель. И ты, приятель, спишь, и ты, герой, уснул. То над Россией тишь, то над Россией гул. Труба проплачет гимн, расправит ветер флаг: не встанет ни один ни сын земли, ни враг.

Во имя веры вдов, во имя новых дел — земле нужна любовь, которой ты хотел. (1977)

Прошрое мое, как у животного: я лишен генеалогии, древо моего рода — небольшой кустик с двумя-тремя веточками. Зато будущее мое поистине богоподобно: в русской традиции — мыслить грезами, подменяя реальность сказкой. Кто я?

Мой дед пуповину не драг от земли, слова экономил, как зерна! Он бил сыновей, он вина не любил, а также людишек казенных. Река там текла, там мололи муку эпоха с эпохой, что жернов. Там плюнул — как выстрелил! — в спину сынку проклятием век пораженный.

Слепая старуха, да дом на пять стен, петлею — веревка в амбаре... Митянечка, старший, взят Кайзером в плен, а младший пошел в комиссары. Прет новое время, как сын на отца, хозяйство раздали по кругу, пустили по свету такого «птенца», что соколы прятались в угол!

Луну, как мишень, продырявил дурак... Куды?! Там уж лес запалили! На церкви паяц вяжет к кресту флаг, а в небе — простреленный филин! Мотало иных из полымя в огонь, земля там рожала железо. Сыны проорали: «Расею — не тронь!» А жиганы — за обрезы...

Неведомо. Было. Уж дом захирел. Река до камней обнажилась. Но только упорный мой предок вертел эпоху на собственных жилах! Ах, с кем бы то ни было, дорог живот, какие бы клятвы ни пелись: веревка в амбаре, и пуст эшафот, и, главное, — вывелась ересь!

Да, разум мой был непорочным зачат, стерильным и послевоенным... Я глотку сорвал, чтоб об этом кричать: «Неверно живем мы, неверно!!!» Я, вряд ли, когда-нибудь землю вспашу, срублю пятистенок

навряд ли: хоть выплачь глаза, вижу неба межу, и прошлое — памяти капли.

Я сам не прирос ни к чему и ничем: терять голытьбе не опасно. Наследник, транжир исторических сцен, он дьявола вырядил в рясу! Один на один помирюсь с подлецом. Не вылакать горечь ковшами! Судьба — это женщина, руки кольцом! — чужие угнавшая сани.

Я сыт не росой и урезан паек. Ах, русское счастье: кусками! Мундиры и текст заготовлены впрок, и с Богом — обмен адресами! Родился. Очнулся. Как дернул курок! Хватило бы смелости — струсить. Мне выдали плоть: оказалось — подлог! Но выросли крылья, а там — потолок... И кончился, кончился, кончился срок: дедам подменили Иисуса! (1977)

Глупый вопрос, заданный правильно, обнажает глупость ответов. Вопрос — это наша жизнь. А ответ? Ответ — это наши мундиры! Рабочие и парадные, мини и бикини. Например: «честью» государственного мундира удобно прикрывать личное бесчестье... Поэтому так любим мы тех на Руси, кто не имеет вообще ничего: они — наш вопрос, мы — их ответ. Правда, никто не знает, кого подразумевать под словом «они», кого под словом «мы». Зато с мундирами всё здесь понятно; русская жизнь — глупая жизнь. Вот и ответ.

Шофера за столом мне друзья будто бы... Да за каждым углом водка-ябеда! И на каждом столбе по луне висит, и души, брат, полно: тяжело нести. Станционный буфет, Люба-Любушка! — под жакеткою грудь для меня, как штраф. В клубе «индию» крутят киношники, — я культурный, Любаш, я курю в рукав!

Кореша подождут, обойдутся уж: у меня есть ты, у тебя есть муж. И на всех у нас есть большая злость: повезло не нам, все другим везло. А на улице грязь,.. сам с собой вполне, от столба к столбу, от луны к луне — я один иду, всё кляня, как срок: захолустье пьет так, как Москва ситро.

А я не был в Москве, я приврал туточки, бескозырку привез, да две ленточки. Под гармошку, Любаш, плакать ласковой, — поживем вдвоем? — ночи барские! Оглянулся я: всё друзья будто бы. Да за каждым углом водка-ябеда! И на каждом столбе по луне висит, и души, брат, полно: тяжело нести. (1979)

Детали, мельчайшие детали и случайность определяют направление глобального шага. Я вкратце поведаю историю одного моего друга, Александра. Он был интендантом защитников Белого дома в Москве в 1991-м году, когда в очередной раз в стране «наши» пошли против «наших» и даже танки в город понаехали. Александр распорядился от имени защитников накормить голодных нападающих, ребят-танкистов, немытыми сливами... Через несколько часов танкисты, оценив благородство поступка и не в силах более сдерживать напор своих животов, перешли на сторону ликующей демократии. Это

был решающий момент в противостоянии сторон. Так пишется история страны.

Когда я торможу стариков, их чуланная память сначала выносит на поверхность каких-то пыльных картонных болванов и опасные для жизни лозунги, потом появляются эпические картины и карты боевых полей, и, наконец, вот она, великолепная россыпь настоящих золотинок жизни — личные детали личных противостояний! Кто куда перешел в тебе самом, когда было трудно? По любой из этих деталюшек реконструируется время. Так пишется история человека.

Вот и к нам война,.. ох, известие! Инвалид-отец, мамка пьяная. Засидится здесь, заневестится дочь на выданье, окаянная! Хороша была, русокошая, табунов вились вокруг охотнички, да бумажкой, вдруг, папирсной закурилась жизнь твоя, дочка. От села к селу черным праздником покатило вон лихо бойкое! Солнце в дым ушло глазом язвенным, не овечий хвост — сердце ёкает! Повелелось жить под присягою, помирать спешат парни с песнями, обрыдалось баб войско загодя, невесёл полон: флаг повесили...

Как пошла гулять дочка с ворогом! Будь ты проклята, хоть и крещена. Позамкнули рты: то ли в горле ком, то ли завистью стелют женщины. На губах твоих не калины сок. Погоди, дай срок, перемаемся, оборвет тебя, как гнилой листок: то ли грех зовем, то ли каемся? Терема горят — души калятся. Уж молва вокруг, как удавочка! Не в кольце навек медном палец — лаской сучию свет попачкался! Уже слышен гул, гонят ворогов, бражка томится, врыта в подполе. Гладит горюшко коня-ворона: вздернут доченьку, да на тополе! Да — свои...

Вот и к нам покой... Ох, известие! Ты махни, коса, будто крылами: засиделась смерть, заневестилась, а пошла гулять — опостылела.
(1979)

Особенная нотка в музыке моего внутреннего мира — общение с заключенными. Меня почему-то всегда к ним тянуло. Возможно, привлекал сам авантюризм контактов, соблазнительный флёр общений. Зеки в России всегда были свободнее граждан. Свободнее внутренне, употребившие эту свободу во вред себе и другим. Вред меня заботил мало, меня интересовала формула свободы. Те, с кем я случайно встречался на почве романтических провинциальных приключений и пьянства, были легки на откровения, нуждались в человеческом участии и душевном тепле. В качестве «Золотого ключика» между мирами мы обычно использовали стакан, до краев наполненный напитком дружбы и доверия — «бормотухой». Огромная Россия не одну тысячу лет воспитывала своих чад на сверхнедоверии: самоедством, пытками, доносами, тюрьмами, рекрутчиной, рабством, проверками, героической глупостью или духовным оскотлением. Разумеется, тюрьму не любят ни тюремщики, ни заключенные. Ее никто не любит. Россия — тюрьма несомненная: и тело, и разум, и чувства содержатся здесь в обязательных кандалах. Такова традиция. Особый «наш» путь, особое «русское счастье» — преодолеть непреодолимое

и полюбить жизнь, хоть на миг, хоть на полрюмочки, полюбить другого живого человека таким, каков он есть: без унижительного недоверия и проверки. Зеки на это упражнение годились сразу же. Они рассказывали мне о своей бездомности, о благородстве внутренних порывов и жестокости случая, о собственном безволии и надежде на мифы; я легко оставлял случайным неопрятным людям, вора́м, ключи от собственного дома, легкомысленно брал на сохранение их деньги и документы, говорил с паханами на философские темы, орал под гитару сам и слушал ответно слезливый «наив» под бренчание жалобной первой струны. На краткий миг тюрьма исчезала, потому что мы жадно слепли от глупого, но самого верного русского счастья — забытья, забытья, забытья! Проверяющий этого не поймет.

Словно Золушка туфли, примерил корешок милицейский «браслет»: обвинили! А он — не поверил, написал на груди: «Счастья — нет!» А как вышел в субботу из дома, так не видел Марусю пять лет. Объяснили: мол, всё по закону. Парню выдали «волчий билет»!

...Далеко ты, народная стройка! Мчится общий вагон по стране: будет, будет казенная койка и Маруськин портрет на стене! Юный возраст с моралью не в сумме, рыжий прапор на совесть давил: ничего, мол, есть время подумать, и — железную дверь затворил!

Он оттуда писал неохотно, всё просил потеплее носки, и, конечно, тех хахалей фото, что с Маруською были близки! А в тайге разгулялася вьюга! Трое прямо с работ «утекли». Через месяц Маруську-подлюгу с перерезанным горлом нашли! Корешок сам явился с повинной, бабы плакали в зале суда! И салага толкал его в спину... Прокурор, как ребенок, рыдал! (1979)

Как-то в разговоре с офицерами колонии я неожиданно повернул русло беседы в направлении телевизионного сценария. «Мужики, у вас ведь в зоне есть баня для заключенных? Есть. А не слабо голяками вместе с вашим подопечным контингентом на парок? Идея такая: сидят голые мужики, обсуждают общие какие-то темы. Жизнь, которая, как известно, одна-единственная на всех. Ну, сидят, парятся, а потом хорошему приходит конец: каждый одевается в свой мундир — одни в форму, другие в робу... Мундиры ведь правят жизнью!»

Сниматься офицеры перед телекамерой не побоялись, согласились сразу же. А зеки идею забраковали. Слишком уж «в падлу»!

У нас сегодня «камерный концерт»: на двести камер пара балалаек... Мы будем петь про родину и смерть, а за окном — собаки лаять! У каждого явления свой срок, следы костров таежных на «телагах», за третий раз старается звонок, — мы будем петь, а зеки плакать! Воспоминанье нары осветит! Начальник-фраер делает приказы: так хорошо, как будто водки литр, как будто бы уже до хазы.

Княжну бросает урка-атаман, солист трубит «червонец» за наси-

лье, а гитарист, майданник и пацан, — в честь Октября ему скостили... Душа большая каяться спешит, на вышке «дуба дал» «краснопогонник», в ладоши хлопает и с нами корешит любитель муз, почти полковник! Заочницы зачнут от новых дат. Хозяин уж бумагу утверждает. И жизнь течет, как малая нужда, а, может быть, уже большая. (1979)

У советского государства были свои секреты, у рядового пьяницы — свои. Конечно, каждая сторона доподлинно знала о секретах другого. И всё же... Рядовой состав выигрывал на импровизации, в то время как государственная секретность напоминала тупую огромную глыбу, на которой со всех сторон висели таблички: «Низ-з-зя!» Например, на электромеханическом заводе, где я пребывал в качестве регулировщика радиоэлектронной аппаратуры четвертого разряда, имелся в нашем цехе огромный сейф для секретных бумаг и особо ценной аппаратуры. Бумаги мы закинули на антресоли, а аппаратуру столкали под столы; сейф позарез был нужен в качестве... спального места. Мы в нем спали! По очереди или с тяжелого утра. Придет начальник: «Где Роднов?» А ему бодро отвечают: «Ушел на испытательный участок». И всё шито-крыто. А я в это время сплю себе за бронированной дверью. Главное — не захрапеть и не задохнуться. Господи! Мы же на смену, как зомби, шли через проходную: начало работы — в 6. 30 утра! На минуту опоздал — остался без денег. Союз нерушимый республик голодных! Примерно так пелось в гимне страны тогда, впрочем, так же точно поется и сейчас. Но: тс-сс-с! Это — секрет.

Ровно в восемь утра начинается «мрак» — комендантский пожизненный час. Так пылай же, как хворост, ночная пора, когда мы прожигаем аванс! Как слепые щенята на брюхе земли, голод просит душа утолить, лишь залитая водкой душа не болит, а иным — даже не на что лить! Раз «отмеришь», и коль не дурак, не дурак, то «отрежешь», быть может, семь раз... Ровно в восемь утра начинается «мрак» — комендантский пожизненный час. (1982)

Из газет. Сбитого над Бейрутом американского летчика спросили: «Что вы чувствовали, когда сбрасывали бомбы?» А он простенько так и отвечает: «Я чувствовал себя Господом Богом!»

Вам говорю: зарю многие уж не встретят; ведаю, что творю, подкупленный смертью. В шахте «13-А» в инструкциях нету чувств; господня моя рука — на клавише: «Пуск». Ждут города врага, зла в небесах дуэль, ангелы в облаках выведены на цель! Лопнет земли кора, воды разверзнутся: в шахте «13-А» — крылатая смертница! Радар не ослеп пока... Ставьте стволы к виску! Но прежде моя рука распишется: «Пуск!» Высох поток реки. Будет последний Суд! И черепа-горшки не боги вам обожгут! Вечности сын — не я! Выжить хотел Иисус... Где твой висок, Земля? Господу — слава! «Пуск!» (1982)

В городе Чите во время проливного дождя я кое-как догнал троллейбус и схватился за металлическую его дверцу. Шибануло током. Очнулся сидящим в луже под столбом, троллейбус уехал, вещички почему-то никто не украл. На ноги обратно меня устанавливали несколько заботливых цыганок. Они при этом приговаривали: «Давай, парень, давай!» Какой удивительный контекст был в этом их цыганском «давай»!

Вагон плацкартный, полка верхняя — мне до Читы еще три дня, ну, а в кармане, чтоб доехал я, монеты медные звенят! Спасибо, бабушка, за курочку! Такая жизнь у цыгана: сначала любящая дурочка, потом — гулящая жена! Кресты стоят на полустаночках, колеса топчут материк, а я ловлю сардины в баночке, а водку носит проводник. Мои долги? Дела веселые! Печали мимо пронесло... Сойду ли я, хлебнувши солоно, да под казенное крыло?! Прощайте, теплые Армении! Мне до Читы еще три дня: вагон плацкартный, полка верхняя — встречайте, спекули, меня! Имею всё, что пожелается, икают бабы от вина, Господь в погонах улыбается: такая жизнь у цыгана! (1985)

Пожилой человек без обеих ног, прикованный к постели ветеран войны полюбил меня за безропотное согласие выслушивать его признания. Служил вояка в органах редких: личная охрана Сталина. И вот — конец жизни. Скука. Неподвижность. Домой к нему я заходил раза три, больше не смог выдержать многочасовые сеансы воспоминаний; откровения текли под шуршание ветхих газетных вырезок, в атмосфере пахучих медицинских капель. Зато уж сам ветеран без усталости названивал в редакцию. Снятая трубка лежала на столе часами! Слушать его нытье внимательно было просто невозможно; изредка кто-нибудь проходящий (все в редакции знали мою «каторгу» и положение моего «клиента») мимоходом бросал в микрофон: «Так-так!», «Да-а-а-а...», «Что вы говорите?!» — и на этих микродозах внимания инвалид-ветеран, как ядерный реактор, исправно «работал» далее: и час, и три. Потом он умер. Родственники прислали мне пахучие вырезки из газет. И теперь я много лет словно продолжаю говорить с несуществующим человеком. Замаливаю несуществующий свой грех, чтобы избавиться от странного чувства стыда за всех нас... А он с того света иногда мне поддакивает: «Ну-ну, так-так!»

Душу обида прошила навывлет! Плохо стоял поредевший наш строй, всех (и «посмертно») тогда наградили, но — не хватило медали одной! Ползал, как червь, под железом колючим, телом своим грел окопную слизь. Ваше величество, Пуля и Случай, вас обманула проклятая жизнь. Всё позабылось: угар лихолетий, злой санинструктор, махра и кiset, даже майор и его пистолетик! Только обида та старая — нет.

Минное поле прошли, не крестились. Зябко спиною я чувствовал, как целится кто-то мне в спину: не вынес, глянул назад, а там собственный «брат»! Взвод «особистов» — стволы с матерщиной! — бей по своим, чтоб чужим невпротык! Лучше бы я подорвался на mine: дали по морде, под зад и в поддых. Как закипел я, не помню в деталях. Пом-

ню, рванулся на вражеский дот... Ну, а когда раздавали медали — вышла фортуна, как баба, на лед!

Дали — спасибо ребятам! — залиться: пил я из кружки с медалью чужой! И улыбались небритые лица: брось и наплюй, мол, вернулся живой! Я обошелся без бронзовых «штучек», но, с той поры, как ложусь почивать, чувствую: в спину, всех снайперов лучше, целится прошлое... Так вашу мать! Запнулась душа на замедленной mine. Старый брюзга, ветеран и ворчун вышел на пенсию, в чести и в чине! Нынче медалей: бери — не хочу! (1982)

Во всем мире горе — человеку не друг. А на Руси — горе сладкое. В статусе государственной значимости. Свобода здесь или кричит страшным голосом, или плачет так же. Потому что она — посмертна. Сладок суицид: хоть в бездонной бутылке, хоть в смиренном унынии. Рабовладелец заставляет раба восхвалять мораль рабовладельца. В конце концов, раб бунтует и захватывает власть, но... продолжает восхвалять мораль рабовладельца.

Мои карты краплены сомнением, во крестях не по силам игра; в палисаднике нашем сиреневом ночью выросли два опера! Чья-то совесть, сбродившая солодом, спит от сытости и питья, а душа моя мается голодом от большого, как праздник, вранья. Помнишь рюмочек голос малиновый? — Под завязку, испивший беду, сам полез я вдруг на кол осиновый — на рожон, под чужую звезду.

Буби козыри! Мат — мои «прения». Так и так, мол, судьба завела: к палисаду в кальсонах сиреневых утром вывели голь со двора! Адресочку бы статья не названным, чует пуля, где прятался я... Ум за разум, а мысли не связаны, ох, от них — нескладуха житья.

Будь здорова, судьба, да — с поправочкой: как нам ввали отцы про дела, про свободу, про «Красную Шапочку», как разделали их догола! Не поверить мне в козырь неигранный! Как налетчик, считаю «ходы»: я учен «избирать и быть избранным» — по шкале от креста до звезды.

Кто послал вас, ребятки, с напраслиной? Горлодерским воякам — хана! В палисаднике нашем опасливом нынче в осень ходила весна. Пей винишко, мадонна неверная! Как ты жил? Ты играл на «ура». Ум за разум, да праздники вербные... Опера! Опера! Опера! (1981)

(в блоке с фотографией)

Привкус декаданса, возвышенного упадничества, картинного финала — что-то в этом есть очень привлекательное. Русская рулетка крутится не в патронном барабане, нет, — она крутится в мыслях, в сердце, во всей истеричной натуре русского человека. Все эти внутренние «выстрелы» — вхолостую, напоказ, для шумного куража и бесплодной суеты. Но никогда не стоит расслабляться с русским человеком. В «барабане» его судьбы обязательно есть хотя бы один боевой заряд — для себя. С одной существенной поправкой на

особенность характера нации: это «для себя» может оказаться всем миром. Плач декадента глобален.

Ах, что происходит? Я драться бессилён! Отравлено сердце, мучителен шаг. Я бросил поводья, весь мир опостылел, волшебною дверцей открылась душа.

Как будто бы в сказке, однажды проснувшись, я жажду почувал: самим быть собой! Но только всё поздно: проиграна юность, и смерть перед Богом — как ангел босой.

Зачем я теряю товарищей верных, доверчивость женщин терять тороплюсь? Я — злая песчинка в пустынности смертных: люблю не любя и не веря молюсь!

Ты видишь, Отчизна, заблудших, но гордых: рожденье мое было Страшным Судом! Судьба оглянулась, а на поле черном — ничто уж не мило и всё всё равно.

Ах, что происходит? Я балуюсь петлей! Мои идеалы — красивая ложь! Не надо присяги, подайте веселье, не трогайте душу! — последний мой грош. Я будто бы птица, преступно свободен, но меткий стрелок подобьет меня влет... Бегут сыновья от обиженных родин, неужто и мой наступает черед?!

Мой друг, с пустотою я драться бессилён, отравлено сердце, мучителен шаг. Я бросил поводья, весь мир опостылел, тюремную дверцей закрылась душа. (1983)

«С кого делать жизнь?» — был такой лозунг, выдвинутый газетой «Комсомольская правда». Молодые люди по всей стране, как дураки, обсуждали: «С кого?» Многие задумывались всерьез, водя пальчиком по столбцу с перечнем примеров. В заводском цехе, где я тогда работал, рвение активистов кампании дошло до абсурда: требовалось письменно отрапортовать — с кого именно и почему?

Догорело терпенье — бикфордов шнур! — и взорвался молчаньем я. На работе хмур я и дома хмур: на фуя мне всё, на фуя?! Не успеешь проспать: подъем, подъем! — будто дышит в затылок кто. Нас, таких дураков, по стране мильон: на Восток бы всех, на Восток! В кабаках пусть шарманщик заводит рай, вся бригада сидит в дыму: на работе «выдай», а тут — подай! Во тюрьму бы всех, во тюрьму! Я могу в одиночку съесть соли пуд, без ножа на троих — могу! Так зачем же я так надрываю пуп? Ни гу-гу о том, ни гу-гу. У меня по стране лебедей одних! Только кончилось, вдруг, «кино»: на работе тих я и дома тих — всё равно теперь, всё равно...

Заработаю я на пропой-прокур, на Почетной Доске — фотография. На работе хмур я и дома хмур: нет, не я это всё, не я! (1982)

Была еще и такая роль у опытных заводчан, со стажем работы — на-

ставник молодежи. Мы их называли «наставыши», сами себя они именовали чуть иначе: «напырник», добавляя иногда для юмора — «муделёжи».

Я написал от имени наставника песенку. Не один стакан подали мне за это дело пожилые, усатые дядьки.

Ровнехонько полжизни я проспал, вторую половину — всё законно! — я за станком, что Шива, простоял, шестью руками укрепляя оборону! В комодке уже тесно от «похвал» и грамот за почет и постоянство! Не помню, сколько я петиций подписал за прочный мир, а также против пьянства. Умеренно, полжизни я пропил, так, втихаря, боявшись обсуждения... Кого-то «выдвинул», куда-то там «вступил», зачислен был в «опережающие время». Многотиражка — орган боевой! Мы дружим на взаимном основаньи. И называюсь я «хозяин» и «герой» казенных дел в том слатеньком писаньи!

Мне говорят: я жил — дай бог другим! Пример не вызывает интереса... Напарник мой, сопливенький кретин, в бригаде ходит тормозом прогресса. Он гонит брак и хаёт всё «туфтой», видал он вас, ему благополучно. У нас подъем вновь «небывалый», «трудовой», я жму рычаг, а он кивает: «Скучно!» За пацана я искренне боюсь, ему, как жизнь, я уступаю место: «Давай, сынок, крути-верти, не трусь! И даже выпей на полученные честно!» А он мне говорит, что я проспал не половину — жизнь всю без остатка. «...Пойми, сынок, ты в двадцать лет устал, а я хромая, но надежная лошадка. В итоге дней я сам себе закон! Да, я не видел Лувра и Парижа, да, я привык уже к оглоблям и верхом... Но я, брат, жил! Живу еще! И — вижу!» (1979)

Выгорело одно из «плеч» двухтактного мощного генератора, который приводил в движение вибростенд, напоминающий бочонок средних размеров. На этом стенде «трясли» электронные модули для военного производства. Вибростенд «окривел», цепочка испытаний порвалась. Начальник говорит: «Чини быстро!» Я починил. Начальник выписал мне премию — двадцать пять рублей. Я, конечно, это событие отметил с друзьями. Образовались прогулы. Начальник опять вызывает...

Селектор из «обеда» сделал «вычет» — начальство без меня не может жить! Я знаю всё, что он мне скажет нынче, поскольку знаю, что он должен говорить. Я в «курсе» водевиля с секретаршей, он знает про меня, как «Отче наш». Хоть был моложе, но уверенней и «старше», он «вес» копил, я — лишь вытягивался в стаж. Мой стаж с международной обстановкой (его — послушать!) связан, как близнец... А у меня похмельная головка и коллективу я — несчастья кузнец.

На винный дух есть дух-администратор! Он «должен вслух» и «выставить на вид», «лишить обязан» (хоть семья не виновата), что характерно: он всё это го-во-рит! Я знаю, как он «цыпочку» покличет, как та приказ в полмига наступит. Я из начальничьего «веса» сделал «вы-

чет». Но!.. «Минус» к «минусу» и «плюс» уже звучит! Начальства без меня — не существует! Не я, а он дрожит за роль и грим. Учтите, шеф, я сам вас «гримую» и «роль» пишу! Так, что еще — поговорим! (1983)

У каждого есть излюбленные места. Для отдыха. Для жизни. Для чего-нибудь еще. Для меня это — Сибирь. Я любил и до сих пор люблю там шляться. Именно это словцо уместно употребить для определения внутреннего состояния странника. Сидишь в кабине тягача, трясешься, а вокруг — вроде бы всё то же, да иное... Шляющийся всегда «наматывает» на себя чужие судьбы...

Я смею доложить: раним, как тундра! Мне в двадцать лет курорты бы на бис! Индустрии паскудная полундра — везет мой дизель карточки актрис. По отпускам душа моя за ноги берет тоску и гонится на Юг — тепло там! — обиваю я пороги горячих, но не чувствующих шлюх. А вахта ждет. Там, раскисать не позволяя, забористый приличествует мат, на русском «эсперанто» люди лают: прощай, маруха, двигаюсь в «квадрат». Ревмя ревет мазутная кабина, актрисы джигу пляшут без трусов, а где-то жизнь выносят на витрину, а где-то кормят нежностями псов. А ну, наддай, актрисочка нагая! Там колея, там юзом поведет... Вот это жизнь, плохая, да не хаю: я семь «кусков» заделываю в год! Законы знаем: рупь да монтировка; на морозах я сделался горяч! Мои столичные красавицы в «ментовке» с «бичом» делили северный калач.

Давлю на газ, экранная девица бедром скользит в шоферский бардачок; через капот взираю и мне снится чужой дороги ласковый расчет. Гулять и петь! А жить — уже обрыдло. Семи «кусков» хватает на пропой. Дешевая, как горькое повидло, маруха-курва «мылится» женой! Мое «кино» баранка-хулиганка, в калашный ряд за рыло не берут. Душа-пузырь, горбатая пацанка: не купишься — авось, не продадут! В поселке нашем бравые ребята высоким штилем наворачивают слог: «Встречай, маруха! Были бы богаты... А ну, плесни шоферу, я продрог». (1979)

Мне дали бумагу, я всё подписал: чернилами, кровью, соплями... «С позиций — ни шагу!» — и лычки сорвал «товарищ», и плюнул пред нами.

.....
Беречь людей — таков закон законов. Жлобы-гвардейцы парни будь здоров! Цедил в усы штрафбатовский «подонок»: «Цена свободы — собственная кровь!» (1980)

В ощущениях есть новизна: утюгом баба «гладит» мне уши! Ох, не пейте, ребятки, вина — я вчера схоронил свою душу. Она вышла, больная, вовне, похлебала водицы из крана, и решила, что я ей во сне, мо-

жет быть, померещился спьяну. Я поставил пластинку: «Сиди! Отдыхай. Не волнуйся. Пустое...» А душа всё одно: «Уходи! Я проснулась! И дорого стою».

Заказал в магазин я такси! Посчитал и рубли, и минуты: вот и ожил, еси-небеси! А душа умерла почему-то. В синяках от побоев спина. И разнюнилось небо постыло! Ох, налейте, ребятки, вина! — На троих по «червонцу» с могилы. (1984)

Мыслишки чиркают, как маленькие бритвы: у государства денег до «ля-ля»! А я к соседке, вроде как с молитвой: «Позвольте до получки три рубля?» Соседка женщина, конечно же, что надо, там даже есть французское биде, там кофе пьют, там закусь — шоколадом... А мы у «Штучного» танцуем па-де-де! Судить по «кости», вышел я черняво. А там — ого! — богатая «гнильца»: среди бела дня к ней хахаль кучерявый! (Не я с утра: «Помилуйте жильца!») Она, заразочка, мне «трюльник» пожалела! А домработница: «Постой, не сепети...» — смекнула бабушка: «Держи, закоренелый...» — и «отстегнула» в сумме десяти!

В ту ночь потливую я в мыслях извинялся: «Бабуленька! Здоровья тебе шлю!» Нигде так человек не раскрывался, как в радости, привязанной к рублю! А эту... филип-моресову штучку я раскусил. Такие вот дела. Небрежно бросил ей: «А дай-ка до получки тыщенок пять...» И «штучка» мне — дала. (1984)

Однажды в Москве полтора часа беседовал с очень известным генералом. Разговор зашел об армии (а было это в середине девяностых, когда развал и упадок в стране ошеломляли), я не смог скрыть усмешки на лице. Генерал, заметил, заревел в голос: «Ты знаешь, чем военные люди отличаются от гражданских? Это единственные люди в России, кто еще умеют ходить строем!» Подразумевалось: строй — это сила. Мое отношение к понятию армии изменилось.

И отец, помнится, приговаривал в трудную минуту: «Я — солдат, жаловаться нам не положено».

Эфир морзянку пьет, как алкоголик. Уже на флангах требуют огня! За единицей — нолик, нолик, нолик... За маршалом — нулями! — солдатня. Пока мы спим, наш маршал знаменитый задвинул «пешку» в образе полка. Солдаты армий — квиты! квиты! квиты! — как правая и левая рука.

...Утюг железный гладит поле траком, за эту мощь отчаянно горды, глотая пыль — по тракту! тракту! тракту! — мы топаем с глазами из слюды. Благодаря нам держится порядок, айда, братва, качать политрука! Он так сказал: что надо, надо, надо — глядеть на жизнь, как снятая чека.

Но вот эфир, морзянки нахлебавшись, запел тихонько песню «Соловьи»... До горизонта — наши! наши! наши! — Стой, кто идет? — Свои!

Свои! Свои!

...Перед сеансом крутят агитролик: призывники — обритая шпана. И старый маршал — нолик! нолик! нолик! — когда б не рядовых величина. (1984)

Пацан мой пошел по кривой дорожке. К армии не годен, забраковала медкомиссия. К судебному заседанию — годен. Толкуем с военкомом. Он, бедный, тоже на своего пацана жалуется: «Выучил, понимаешь, на автоправа. И что ты думаешь? Машины теперь угоняет!»

Что будет — не знаю, что было — не помню, и врач говорила, и друг говорил: «Что будет, то будет, что было — догонит, и дети продолжат войну или мир». Что будет? Не пьянство. Что было? Не тюрьмы. Был любящих женщин бессмысленный взгляд... Все сроки исчезнут, как грузчики в трюмах. Да что там — уж дети шалят у руля! Корабль небывалый разводит пары. А дети опасны, грешны и мудры. (1975)

Шумный успех на сцене я имел всего лишь раз. Это случилось в лесу, на Булычевской поляне, где проходили полупулегальные слеты авторской песни. Концерты обычно проходили ночью. В ту ночь меня, изрядно «отключенного», вытащили за ноги из альпийской штормовой палатки (этакого брезентового пенала высотой 45 см и длиной 180 см), дали гитару и вытолкали на сцену. Чтобы не упасть, я схватился за стойку микрофона. Наделал много шума, но на ногах удержался. Потом закричал в темноту.

Под наркозом мой мозг, под наркозом мой взгляд, под наркозом мой слух, под «морозом». Я б взглянул, если б смог, иль услышал хотя б: отчего это я под наркозом? Мне не дали болеть, дали что-то привить, как от оспы и туберкулеза... Мне б себя пожалеть! Мне бы поговорить с докторами о пользе наркоза.

Под наркозом я ем, под наркозом тружусь; я живу, словно весь — под гипнозом! Продаюсь без монет! Нервы скручены в жгут. Разморозили!.. Видимо, поздно. Под наркозом мой мозг, под наркозом мой взгляд, под наркозом мой слух, под «морозом». Наведите мне лоск, я иду на парад — под наркозом! наркозом! наркозом! (1977)

Хлопали хорошо. За волю к победе.

Давным-давно уже всё во мне изменилось. Ни вина, ни табака, ни горького юношеского крика. Однако непонятно: почему темы текстов устаревают медленно? Ведь прошло, считай, лет двадцать-тридцать... Страна уж другая. А горький крик — прежний.

Ограничена, понял я, сверху на дороге ухабистой скорость. Всё! Сидим без бензина. А мимо, как ветры, пролетают «моторы»! Не узнать километры и не лечь под колеса, у клаксона уж голос не звонкий. Всё!

Сидим без бензина. А выломать посох — не хватает силенки... Ни траса, ни веревки, умолкли надежды, — этой трассой измучен и сыт. Вон, за тем поворотом лежат вперемешку наши звезды и наши кресты. (1977)

Осталось лишь поставить год написания стихотворной заметки.
1975-ый.

Довольно часто возникало ощущение исполнительской беспомощности перед собственным текстом. Трех аккордов в «ля-миноре» явно не хватало. Друг мой, Саша Балтин, уговаривал: «Брось ты свою гитару, она тебе петь мешает!» Очень хороший совет оказался.

Не все мы родились в урочный час, мы с жалобой отстали на полвека, мы стали уже в мыслях и плечах: почти калеки. Свою дорогу велено искать среди дорог, проложенных другими. Первопроходцы нас не стали ждать. А мы ведь — с ними! Нет, ничего сначала не начать и не исправить прежние ошибки, стихает гимн, гимн надо продолжать — как Первой Скрипке! Не все мы родились в урочный час, не все дорогу выбрали крутую, и тем, кого не будет среди нас, я салютую! (1977)

Вообще, пророчествовать в России — занятие замечательное. Души русских пророков переселяются после смерти в ворон. Видели ведь, сколько их в нашем небе? — Карррр-р! Карррр!

Бывает, художники слепнут, бывает, немеет поэт; трагична, точнее безвредна, судьба этих тайных калек. Не может певец не фальшивить, не может труба не хрипеть! Вы дрались с собою, но — жили! Не лжи ли во имя теперь?! Глухой порицаньям не внемлет, безумцу отыщется брат, — и снова делить будет землю с рабом его будущий раб. В потомках художник прозреет, немой на подмости взойдет, оглохший услышать посмеет... И жизнь с опозданием — придет. (1974 г.)

Вообще, писать книги с «дистанцией» мне очень понравилось. Дистанция — это бегущее время между сказанным и до-сказанным. Несколько десятилетий. Получается очень долгий дневник, единственная, по сути, книга, жизнь в движении, где свершившийся факт может дать комментарий нахальным надеждам. Но не дай бог, если и то, и другое совпадут. Это означает страшное: время остановилось.

Кто выйдет, кто скажет: «Измена!» Ай, каждый следит за другим! Так стройте на палубе пленных: Грицко, Аксельрод, Ибрагим... Крикнули эти и крикнули те: «Веру отцов сохрани в чистоте!»

А чьи на антеннах приказы, а чьи словеса на устах? Казалось, что жили за праздник, а, как оказалось, за страх. Но крикнули эти и крикнули те: «Где вера отцов? В чистоте? В чистоте!»

Кто выйдет, кто скажет: «Измена!» Неужто, и братья — враги?! Царю присягали на верность — Грицко, Аксельрод, Ибрагим... Лишь мертвые души кричат в темноте: «Веру отцов хорони — в чистоте!» (1976 г.)

Воспитанный в атеизме, я вдруг начал употреблять словарь христианского мифа. Иначе невозможно было выразить то, что хотелось: предчувствие гражданской драмы.

Пока на твердь ступаю прочно, о долге помнится едва; ни одного закона точно: хоть дважды-два, хоть дважды в ад!

...Прими, алтарь, пустой и пыльный! Жизнь коротка и суд мой скор. Я вспомнил, как мы позабыли Отца всевидящего взор! (1974)

Я никогда не смеялся над потребностью человека верить в неведомое, но трудно сдержать в себе ухмыляющегося дьявола, когда я вижу верующих в религию...

Губим, ей-богу, губим в себе такое, о чем — не знаем; как будто души продали люди, или как будто порвали знамя... Будет! И боги — бренны! Играют с прошлым пусть наши дети. Потери роста растут, как цены... Никто не знает: откуда ветер?! Что же, мы тоже верим машине нашей, колесам тайным; как привидения, лезут в двери плохие слухи: «Водитель — пьяный». Время, — целитель лучший, — всё то, что было, покроет мраком. Не закрывайте, кто может, уши, или поплачьте, кто может плакать. (1974)

Телевизор — это человеческая комедия с доставкой на дом, глобальный непрекращающийся спектакль. Сценарист, конечно, неизвестен. Зато хорошо известно другое: негативную информацию можно легко продать, а позитивную — нет, поскольку ее приходится растить, долго и непрерывно. Что поделаешь: продажность этого мира необратима. И есть лишь один способ защитить себя — выключить телевизор. Цепь глобализации проходит и через тебя; ее можно разомкнуть. Но учти: цербер-государство рассердится.

В подушку лицом и лицом можно в грязь, лицом люди падают в снег... А мне бы в лицо повидать эту мразь, что лицами ставит — к стене! Планеты лицо так легко осквернить в надежде слегка поумнеть; учебник истории, как динамит, надежно заложен во мне. Grimасы эпохи: Земля, наша мать, последний свой делает вздох. И всем — по тревоге! — слетит благодать и больше не будет эпох. Не прячьте лицо, есть же где-то набат, присяги душ строгих не врут: пусть учится сын целовать автомат — он тоже вступает в игру. Второго не будет, есть первый лишь раз; в молитвах племен ладу нет. Ох, мне бы в лицо повидать эту мразь, что ставит планету к стене. (1974)

Не повидать. Фатум не имеет лица, у него нет имени и нет, наверное, плана действий. Фатум — это глупость коллективного разума. Болезнь. Ослепший случай. Я сижу сегодня, безработный, поседевший, и упорно продолжаю писать эти строки, осененные странной патетикой русского человека: прощайте, любимые!

В лесу наших лет попугаев не счесть, кукушек и воронов стаи! Отринула зрелость презренную месть и — встала душа молодая. Раскрытые очи кричали: «Ты с кем?!» И я отвечал, будто раня: «Воздушные замки стоят на песке, но падают замки из камня». Какая улыбка, дал трещину мрак: вся жизнь — одуванчиков семья.

Был сказочно первым последний дурак, последний был, истинно! — гений. Любовником пьяным в дом этот чужой неведомо чем заманили, и жизнью моей, как коротким ножом, ударили! — да не убили. Ложился в постель, да накрылся землей, лишь музы отважились тихо: «Мечта — твоя жизнь, — так возьми у нее весь мир, как последнюю прихоть!» (1974)

Стихи у меня получаются редко. Просто мысли, наблюдения, ритмизированные стихоподобные афоризмы. Так что не обольщаюсь на свой счет. Забавно было обнаружить в дневниках семидесятых реакцию на изобилие всевозможного «вечного» вокруг. Из действительно реального я помню только анекдоты и водку, всё остальное — ритуал.

Злобу земли вскормили еще до того, как пятою железной накрылись. Думал божий раб: сделаем Бога слугой, — жаря в небо урановой пылью! Запредельная буря навывлет метет! Что там шепчут оазисы счастья? Соглашайся, чудак: заживет, отойдет, отведется душа от напасти... Соглашаюсь! Ведь как ни крути, ни финти, но почти не оставлено басен! Во пустыне всеобщих годин карантин: я на всё добровольно согласен! Я согласен напрячься вдвойне, я согласен принять облученье, я согласен: к войне так к войне! — ухожу в смерть играть на ученьях! Я согласен лить в реки мазут, расковыривать землю до мяса, я согласен примерить кирзу под сиреневым выхлопом газа. Я согласен пить воздуха грязь, я, конечно, «со всеми и в целом...» Даже левый и правый свой глаз я согласен приставить к прицелу. Я согласен: рубите тайгу! Хохочу: трубы небо порвали! Я согласен! согласен! согласен! — на каждом шагу... Я — согласен. Мне так приказали. (1979)

В чужих тарелках я глазами не купался! Зато воротят морду от моей. Ведь те, что носят репутацию, как галстук, небось, попрятали за пазуху камней. Огребся жаром, но не тот, кто пятернею, крича от боли, вызвал этот жар. О, паранойя: ждать Второго Ноя! — надежда прихожан и каторжан. А в небе птицы, как двуличье многоточий... Вскормилась ярость, как скотина на убой. Любви на страх вручили, между прочим,

самозарядный «шпалер» боевой. Любой сыр-бор, дай время, будет пеплом.

Я, туп и горд, ощупываю смерть: готовьте камни, сопла, сталь и жерла — чтоб в Судный День во славе околеть! (1978)

Человека воспитывают, конечно, не назидания, а обстоятельства. От назиданий следует бежать без оглядки, а новое окружение — любить и приветствовать. Для своего ребенка именно я — непреодолимое обстоятельство, форма и направление жизни, именно в этом и состоит моя родительская забота и услуга: «Дитячко мое! Никому тебя в обиду не дам, сам обижать буду, собственной мерю. Чтобы выросло ты превыше всех обид!»

От семени до семени, от края в никуда, от веры до безвременья — ваш поезд опоздал! Несут иконы зеркало: ах! — хрупок взгляда лед... Душа моя уехала — с петлею медальон. (1976)

Вспомните, люди, мы все-таки любим кривду святую, как право свое. Верим, что будет парад после буден, суд как награда, но... правда есть правда, даже когда мы порочим ее. Кто там в отставке, в былом своем заперт? Братьям слепым во христе не дано видеть, как замер над папертью аспид: тьма им награда! Но правда есть правда, покуда не всё еще в мире равно. Хватило бы силы: быть сильным — постыло. Ангел в шинели запел на трубе! Прощай, моя милая: будет, что было. Посмертны награды. Ах, правда, есть право, покуда дом отчий во лжи и гульбе. (1976)

В России живущий своим умом и своей жизнью умирает, как правило, не своей смертью. Потому что жизнь в России — машина. Машина жизни! Бездушная гадина, управляемая кем угодно.

Мне холодно и одиноко. Звездой и крестом не стыдя, скажите: кто был моим Богом, пока не избрали вождя? Забывшись, чужое похмелье начавшийся день увело туда, где казенным весельем сугробы газет намело. А там — ледяное величье кремлевского бога богов. И я повторяю привычно бездарные речи его. Я в этой метели вершинной команду услышу: «Ко мне!» — и жарясь у топки машины, дам клятву на Вечном огне... Под звуки военных прелюдий я веровать в мир не могу. Мы — люди! Мы — люди! Мы — люди! И век перед этим — в долгу! (1976 г.)

31 декабря по городу текли огромные потоки воды. Таяло, как в конце апреля. Гипертоники слегли, ботинки развалились, Новый год заплесневел. И еще валил снег — медленные хлопья ненормальной величины, которые, налипнув друг на друга, рвали провода. О «парниковом эффекте» и глобальном потеплении тогда еще не говорили. Но душа уже волновалась, ей мерещились Атлантиды, приходящие и уходящие цивилизации, череда разумных сезонов

на земле. Разум ведь и впрямь не волнуется по поводу тысячелетий, а душа просто-таки заходится, вся трепещет, когда любуется бездной!

Провода, как морские канаты, обозначили влажный декабрь: что-то с климатом нашим, ребята! — в небе хмарь, на душе пономарь. Из окна уповать бесполезно: опыт слеп. Но отныне и впредь рассчитает и скупое, и трезво раб учения ангелов медь. «Дай-то Бог!» — говорила природа языком соблазненных стихий. И тогда сушу подняли воды, небу крикнувши: «Следующий!» Города, как большие медведи. Вот и жизнь! Люди, стеблями спя, от ненастий бегут до соседей, а за собственной дверью — в себя. И душа убегает из тела; в декабрых на душе — не сезон. Потеплело, мой друг, потеплело: не резон, да не писан закон. Погляди, белобрысая травка, как надежда, — проткнула сугроб. Но случилась в природе поправка, и — ударил трескучий озноб! Ничего...

С нашим климатом худо. Утро вечер бранит за угар. И живу я, паскудное чудо: самозванец, дикарь, и — Икар. В декабрых машет знаками в окна тьма-искусница злом — из пращи... Время льется легко и жестоко: «С Новым Годом вас, Следующий!» (1984)

Время — это напиток жизни; прошлое нас отрезвляет, а будущее — пьянит. Причем жизнь — это всего лишь привычка пить «время». Но — какое?! Настоящее — миг! Слишком уж маленьким получается глоток здесь и сейчас. Именно поэтому прошлое и будущее пьются без меры. До окаменения. До безумия.

Здравствуй, смертушка, здравствуй, милая! Где гуляла ты, что не весела? Я тебя позвать мог бы силою... С четырех сторон — занавесило! Занавесило поле белое: небо тихое, облака тихи. Я всегда с тобой, моя бедная, моя горькая, как мои стихи. С четырех сторон тьма поклонная, да у каждой тьмы — по четыре зла. Что ни зло, то — свет, даль бездонная. Я тебя зову, чтобы ты ушла. (1984)

Общение со стариками омолаживает. Всякий раз, когда случалась исповедальная беседа с пожилым человеком, я ощущал мистическое «дополнение» к своей собственной жизни. Как если бы нам делали прямое переливание крови. На двоих или на пятерых, не важно. Прямое переливание информации, души, что ли... Иногда даже думалось при взгляде на стариков нечто очень уж странное: «Я буду жить до тех пор, пока вы не прекратите умирать». Казалось, что я способен предоставить уходящим и ушедшим свою жизнь для чего-то, недожитого ими.

Большая точность слова популярна: в пословицах есть мудрость бытия! А бытие, как правило, полярно: то полу-истиной, то точностью вранья! «Семь раз отмерь!» — советовали деды. А я рубил! — не злоб-

но, но с плеча... Померкли мои бледные «победы» пред теми, кто мог жить не сгоряча. Мир бичевал. Рубли таскал по найму. Судьба-бумажка, заштампованная вся; прощали предки государству его «займы», и я прощу — потомственный босяк! Мне брюхо рот не разевало на коврижки, хлеба чужие с привкусом, сухи. Но, каюсь, крад общественные книжки и прятал у друзей их, как грехи. Всё, что со мной, как будто не со мною! Вокруг явления иного «бытия»: язык молчит и руки за спиною, и хорошо врунишке от вранья! Молчание легко и безымянно... Мал «золотник», да вынеси поди! Как дальше жить?! Мне тело шепчет: «Рано!» Душа-потемки просит: «Уходи!» Я ухожу. Прощайте, дорогие! В поспешности и ярости огня я — ухожу! За мной идут другие. Вы прощены, убившие меня. (1984)

Жизнь есть вера. Вера в России — не великое древо с многотысячелетней историей роста. Это — многотысячелетняя огромная яма, поросшая буйным кустарником. Глубину ямы здесь часто выдают за высоту роста.

Меняются масштабы наших зрений; путь Истины сиденьем не добыть! И поколения, как смена ударений, вращают смысл: «Быть или не быть?» Мы говорим о том же, но с «глубинкой», как самообольстившийся игрок. И машут пращурь нам атомной дубинкой: «Привет, ребята, вам еще — не срок! Еще на ниве знаний можно сеять, еще плоды свинцом не налились. А там — вперед! И содрогнуться, и содеять — витки спирали разворачивая вниз!» Отсутствием божественных знамений разбег колосса вряд ли объяснить. И — наплевать, что кающийся гений у мира просит: чуть повременить! Трактатам или доблести погонной не занимать в «пророчествах» услуг. Но кажется: любая жилка сонной артерией назваться может вдруг. Мы говорим о времени — с издевкой. Дают сигнал, проверьте свой «улов»: давно уже безоблачно и ловко живется вам на складе порохов! Меняются масштабы наших зрений; путь Истины сиденьем не добыть! И поколения, как смена ударений, вращают смысл: «Быть или не быть?» (1984)

Прокуроры в своих публичных выступлениях часто употребляют слово «совесть». На очередном республиканском совещании районный прокурор закончил свою речь так: «Моя совесть чиста. А вы можете спать, как хотите!»

Наверно, мы с тобою обознались... Да что страна, земля у нас не та: чем чаще революции свершались, тем меньше изменялась суэта. Наверно, мы с тобой поторопились. Быт обветшал, обычные дела; ед-ва сошлись — сегодня же простились: весна за дверь и быстренько ушла. Наверно, мы, торгуя, покупались: долгой долги! Призванию верны, кто выбыл прочь — пока еще остались, кто прибыл вновь — без водки не видны. Наверно, мы с тобой не разобрались: жива страна — пирамидские сады... Мы за бортом. Но это всё — детали. Корабль

ушел. Хватило бы воды! (1973 г.)

Законы сердца намного старше законов ума, и уж, тем более, законов какого-нибудь государствишка. Государство в России меняется вместе с государем. Новый царь — новое и царство. Государевы законы — от престола до престола, а законы сердца — на все времена. Так что сердцу указ — только собственный царь в голове. Присказку сказал, скажу и сказку. Придворных поэтов хоронят дважды: сначала они хоронят себя заживо сами, а уж потом — как положено.

Пегасов раздавали по заслугам, по масти и по выработке лет, и даже (за отдельную услугу) Пегаса получил один поэт. Он вывел эту царственную лошадь в намереньи немедля оседлать! Ведь, как-никак, своя не тянет ноша, но тут ему: «Придется обождать!» В седло влез человек отяжелевший, с портфелем и ответственным лицом. И с присказкой (похожей на депешу) пожаловал конягу бубенцом. А после, со смекалкой живодерской, ловчила зацепился за хребет... Семь критиков хватисто и броско Пегасу выкаблучивают след! Завистники коня давай треножить! Вот шенкеля! И гикают: «Банзай!» Гляди, уже приделывают вожжи, и слышен окрик: «Крылья подрезай!» ...Поэт ножом внедрялся в очередность: «Желаю сам проехаться до звезд!» — «Скотина, уважаемый, свободна: летайте, гарантировано, ГОСТ». Поэта приласкали по ранжиру; писать стихи — недостаток этот мал! Кто знает, как Пегаса он и Лиру на дойную корову променял?! (1984)

Вера — предвестница знания. Знание — гибель амвонов. Далее — только Путь. Будет ли Гибель? Нет! Будет ли Гибель? Да! Неостановимо движение. Смех переходит в слезы. Слезы — толчок к устремлению; сливается с миром, просторным, как сжатая точка, самоотреченное «Я». Путь — только уровень смысла.

Иногда напишешь эту тарабарщину и чувствуешь: вот оно, значительное! А иногда встретишь действительно что-то значительное, попробуешь описать — одна тарабарщина получается.

Далее привожу текст, который я почему-то назвал «Журналист».

Я жизнью прожил сотни полторы! А ну, спроси, хочу ль сначала? Я, кожу снявши, чищу от мездры впотьмах души упрятанное жало! Вот ценности попадали в цене: и долг, и честь — без камня в Лету. Все мы замешаны на матери-войне, пусть вечность подосадует на это. Быт выплыл в оскверняющей тщете не для игры в бирюльки. Рьяно! Все избилья приравнявши к нищете, я вижу день за пропастью обмана. «Да будет так!» — поведал голос мне. — «Спасись, дурак, спасая веру!» Запретный пот стекает по спине: стволы зрачков — как выстрел браконьера!

Орали на ухо мне исповеди и из-за угла текла беседа, и в грудь

стучали: «Непременно погляди, мы тоже — есть!» — земные короеды. Я, будто вакуум, всасывал слова, чтобы они, боля и ноя, выросли, как в твердь вырастают острова — в меня, аж до смертельного покоя! Какие всходы нынче на виду? Утопий — нет! О счастье грезя, я, как десант, поджег мосты в аду, чтобы до рая грешные долезли. Я тороплюсь, поскольку не могу не торопиться: жизнью — прорва! Я «путешествую», как сталь, в чужом мозгу попутчиков, где — флора, флора, флора... Бегу, как пес, от жадности дрожа: я выедаю кукиш неба! Ну, а вокруг — куржавчиками — ржа: и страх, и лесть опутывают среды. Мне бы успеть, еще бы жизнью сто: приколотить мечту на гвозди! Чтобы не лилось счастье в решето, наморщивши чувствительные ноздри! Невидим груз, но тяжестью с хребта — чужих судеб бегут лавины... Я видел, как с горящего моста ко всем чертям сигают херувимы! Разрезанные вены на руке, не я за вас, и не себе налью... Я жизнью тысячи носил на волоске, чтобы прожить — единственно! — свою. (1984)

К этой балладе предисловие очень простое: через 40 лет после смерти поэта была создана комиссия по творческому наследию Осипа Мандельштама. Настоящий герой в России всегда мертв. Быстрая, расчетливая Америка знает своих живых писателей и гордится ими, Россия гордится классиками, которых она замучила.

Ни к чему наводнять мир плохими стихами, в этом мире и так, что ни сорт, то второй. Но не в силах унять дважды «третье дыханье» из когорты писак тихий слышится вой. От упреков мир зол! Вот упрек в эпигонстве, справедливый, как смерть, убивающий в грудь. Кто-то шел — не дошел, видно, полною горстью дьявол вычерпал здесь норовистую суть.

Что советует мэтр? Он советует — пиво! Как икону, храни гонорар и талант. А талант уже сер, а лицо не красиво, и спешат подменить чье-то право — на шанс. И, грустней похорон, ходят в мире поэты; в одночасье постиг мальчик звездный указ: вместо голоса — стон... Но, как чирьи, за это всех поэтов-расстриг изводили на раз. В океане шумов рифмы чахнут неслышно. Но, нет-нет, да найдут под гробешником клад... В мире старых обнов — это лучшая крыша: до «звонка» — самосуд, после жизни — набат! Над бумагой корпят, упражняясь в уменьи, молодой сталевар и старинный полпред... Только, видимо, спят музы в час безвременья, от фальшивых фанфар уходя на тот свет. И пугается мэтр, пиво проливший мимо: мол, поэтов-расстриг прижимаем ногтем! Только вот уж вам — нет! Ведь фортуна-фемину в самый жизненный миг убивали враньем. Значит, мир, аки тать?! Ничего, что не сразу получается взлет, или страшным — пике... Просто надо искать ту прекрасную фразу, что, возможно, сведет души накоротке. Вон опять с облаков, продираясь локтями, кто-то ринулся вниз, и — пропал с головой! Потому что любовь — это выше, чем знамя. И улыбочивый риск — ангел

пойманный твой. (1985)

Прыгаю во времени. Год 2004-й. Выборы а-ля демократия. Только что позвонили в дверь квартиры. Незнакомая женщина в пуховом платке и с заму-соленной тетрадкой в клеточку напористо выпытывает: «За президента Пути-на голосовать пойдете?» Я рассердился: «А вам-то что за дело, кого мне вы-бирать? Ведь не тридцать седьмой!» Женщина посоображала и мирно произ-несла: «Значит, отказываетесь». И поставила в своей тетрадке против на-шей квартиры «минус».

Реально гибнущих под призрачной преградой ужели тьмы?! Пус-тынностью сквозит кумач девизов, имплантирующих «радость» в нут-ро извилинок: питайся, паразит! Вон тот изверился, отчаялся и спился, другой всё кланялся, аж палку перегнул! Мне говорят: «Ты, парень, не пробился». Так точно: я забор пере-шагнул! (1974 г.)

Пассажиры планеты Земля нервничают, они не без оснований чувству-ют себя заложниками в этом беспримерном космическом полете. А в полете участвуют и дураки, и террористы, и фанаты идей. «Кто виноват?» — на рус-ский лад вопрошают взволнованные пассажиры. И находят ответ: державы-ду-раки, страны-террористы, государства-фанаты. Затем наступает очередь вто-рого сакрального вопроса: что делать? Скорее всего, дураков будут учить, бандитов уничтожать, а фанатов изолировать. Если успеют, конечно.

Мою землю трясет, как похмельную, видно, нечем ее похмелить. Колыбельную пой, колыбельную — порвалась ариаднова нить! И над-садно Везувием кашляя, и глотая мазутный прибой, Землю, будто хру-стальную чашу я, расколол: колыбельную пой. Нет над Господом Гос-пода, Господи! — сам себе Бог твердит: «Бог с тобой!» Стали хлябями боговы россыпи доброты... Колыбельную пой! И молитва, как хохот в трагедии, не нужна; сквозь озоновый слой утекает в пространство на-следие всё мое, — колыбельную пой! После Ноя на земли отдельные зло — потопом! — явилось: чернить. Колыбельная, свет, колыбельная! И вражда — ариаднова нить. (1985)

И еще кое-что скажу, загадочно, потому что «сжимал» эту формулу для себя много лет: не исполнить, не исполнившись. Теперь, кому охота, пусть «разжимает» обратно.

Когда мы начинаем вспоминать свое детство? И почему? Очевидно, с какого-то момента бытия наступает нехватка открытий, всего того, что случает-ся впервые, и тогда голодный мысленный взор обращается к неистощимому источнику — к началу начал. Личное прошлое надежно, как ангел-хранитель. Конечно, оно не способно вести в неведомое, зато оно щедро, как аппарат ис-кусственного дыхания, питает уставшую душу.

Когда?.. Ах, да! Примерно в третьем классе впервые «умер» я, побитый ни за что: бандит Гальков, шпаны дворовой классик, порвал на мне суконное пальто. Потом внеслись на личности поправки: я бредил максимумом, вышло — так себе... И кто-то злой, напористый и хваткий внутри меня гугукнул на трубе! Лицо потеряно, опущенные руки, язык, как дерево, и ноги — не свои... Чего уж там, заимствованно шутим! Не говорю о более — любви. Газеты мучаю, смотрю кино плохое, чего-то жажду, но не знаю, что хочу, друзья состарились: уходим, брат, уходим, похожие на мертвую свечу! Цветы бумажные, искусственные слезы, увещевание в полезности следа — красиво стопорим! И все-таки есть козырь!!! Когда?! Ах, да! Конечно же, ах, да... (1985)

Мы уйдем, а книги — останутся. Это правильно. Плохо ведь, когда иначе: книги уходят, а мы — остаемся... Это значит, что людское время опять завихрилось, в нем появилось встречное течение, вновь образовалось застойное место, болотце истории. Книга делает течение времени видимым. Книга — это братская могила человек в небе. Плохо, когда случается переворот и земля становится братской могилой для Книги.

Улыбки, как натянутые луки! Герой в строю отмерил шаг назад, потом еще, ему связали руки, но — не смогли язык его связать. И дрогнул строй, и мысленно подался туда, за ним, качнувшись, как камыш. Но тут приказ уверенный раздался: ударил залп! И — наступила тишь. Но, что за черт? Тот голос ниоткуда в ушах застрял, горячий, как заряд. — «Отставить думать! Ты ли не Иуда?! Шаго-ом вперед! И — потеснее ряд!» Ударил строй подковами по плацу, оставив тех, кто выдержал, стоять. Но, так как есть параграфы на карцер, упало в тишь: «Приказываю взять!» Улыбки, как натянутые луки! Плечом к плечу шагают молодцы: чеканя звук, они не слышат звуки, герои и совсем не подлецы. (1986)

Из города Парижа приехала хорошая девушка Наташа — композитор, актриса, поэтесса, певица. Наша, местная. Но много лет живет и работает там, думает и говорит на французском. Она читала мне свои стихи, написанные на русском, а потом распалилась, разошлась и — ба! — перешла на другой язык: «Ты знаешь, есть чувства, которые можно выразить только на французском!» Я понял объяснение. У меня тоже имелся подобный опыт.

Заказали однажды сценарий и фильм для завода, производящего ракетно-зенитные комплексы. Предназначение фильма — показ на международной военной ярмарке. Завод должен выйти на зарубежный рынок, получить заказы — требовалась мощная, понятная «визитка» на английском языке. Но я-то, сценарист, думаю и пишу на русском! Причем, пишу образно, как привык, а это — непереводаемо. Именно тогда я понял, что без потерь конвертируются из языка в язык только цифры и идеи. На идеях и выехал. Завод успешно использовал «визитку» где-то там.

Наташа права: стихи — заложники своего языка.

На пределе возможности слов нарождается сверхпониманье: вот вам ненависть, вот вам любовь, миру мир, и войны отрицанье! И в движении молекул, незрим, и в замедленном времени-макро бьется в полном согласии ритм: наше прошлое, нынче и завтра. Этот ритм как основа основ в человеческом дел протяженьи: Слово — ненависть! Слово — любовь! Исчезание и возрожденье. Быть достойными связи миров — не таится ли в этом загадка? На пределе возможности слов смеем вечно, живущие кратко. (1985)

Одни тратят время жизни на то, чтобы «стать» человеком, другие тратят не меньше усилий и времени, чтобы им «казаться». Знаете, я подозреваю, что в итоге всех усилий «стать» и «казаться» — одно и то же.

Я в разведку ушел бы, как в новую Мекку паломник, — за украденным счастьем. Убьют? Поделом мне! Ведь на нашей земле стало пусто и хило от того, что всё дали, да всем не хватило. Не хватило тепла для подросшего сердца, и дорог не хватило, где встали ворота и дверцы, и болят глаза, так как ниточка взора строго следует руслу, точнее сказать — коридору. А по блюдечку катится яблоко мести! А кому-то не хватит дыханья для собственной песни! И обиженный кто-то встречает рассветы уныло: не хватило вина, не хватило друзей и души — не хватило.

Я за это за всё, как любой из живущих, в ответе: за коврижки, что стали посланцами плети, за прогресс глухоты и за чьи-то гребущие руки, за больших брехунов, полуправду и сладкие слухи! Золотой ты наш век, коллективный поход к апогею, разделил устремленных, ломая хребет и идею, так как ради куска далеко не условно: если волки, то все, или овцы — тогда поголовно! Не хватает минут! Рычаги отведя до отказа, очень хочется всё, целиком и, конечно же, сразу — до нуля истребить! Понимая и даже скорбя: чтобы поровну всем, чтобы поровну всем, чтобы поровну всем — поделите себя. (1987)

Религия клонирует души, образование клонирует разум, а техника вот-вот научится клонировать форму. Кто такой «клон»? Он ведь не только одинаково со всеми выглядит — одинаково думает, одинаково чувствует. А это началось за много тысяч лет до нас. Клонирование спускается с неба.

Итак, итог. Итог, итак. Чего не смог и что не так? И что хватал, чего хотел? Не удержал, иль не успел. Не подарил. Не отобрал. Всё говорил. А, может, врал? Какая Цель? Какая даль! А я — на мель: себя не жаль! Беда кругом и кто поймет: зачем бегом, когда — не мёд?! Последний финт, венец! венец! — на счет «один» один конец! Итак, итог. Итог, итак. Чего не смог? И что не так? Наверно, был у рая вход... А я забыл, кото-

рый год, который век и что почему? Я — человек. Я ни при чем! (1981)

Я есть возможность для другого человека. Другой есть возможность для меня. Складываясь, наши возможности преодолевают невозможное.

Бензиновый век рвет озоновый слой, от внутренних душевных стограний плодятся астматики. Воздух, как гной. А также плодятся (чтоб вам не бояться!) врачи-стукачи, аки мухи на дряни. Газеты взахлеб то ругают, то хвалят: мол, жизнь происходит — изгиб на изгиб. Одним языком и плюют и фискалят! (Вчера передали: шпиона поймали, послушаем «Голос», что скажут «враги»?) Вот «ящик» почтовый, «колючка» кругом... Ах! — там штамповщицы без пальцев! И мастер с похмелья, и смотрит волком: не надо бравады. Обычная правда: в обед, чтоб дешевле, покушаем сальца. Родные мои, по душе и не очень, ведь это же наша свистит круговерть! Для «галочки» жившим, поставили прочерк. Обидно, обидно! И стыдно, и стыдно: без боя — при жизни своей! — умереть. (1982)

Размышления о времени доступны тому, у кого в запасе вечность. Реалист мыслит вещью.

Мой сын, я — твой. Приемлю суд без страха: пока живой, ты — плаха. Ты мал. Я слаб. Какое протяженье! Дай дать хотя б: ты — время! Тих сон. Час жать. Храни тебя, остуда! Удел мой — ждуть в лице твоём Христа или Иуду. (1985)

Мое добро берется ниоткуда, я делаю из воздуха слова, и эта непрактичная причуда два моих «Я» свела, как тетива. Век в месиве ползучего шептанья тасуются тщедушненькие «я»; нам слово-змей дано для послушанья — живая, говорящая змея! Слова опасней минного обстрела, бывает слово мельче мошкары. Как бы то ни было: душа моя и тело — две ипостаси символа, игры. Одна лишь в мире связь необорима: так, если поглядеть без плутовства, — и «Я» и «Мы» — герои пантомимы, когда бы не «слова, слова, слова...» Чья там весна, печальнее субретки, на кухне примеряет парики? Ах, милые фабричные джюльетки! Подвыпившие ваши пареньки! Нам суета — забота ниоткуда, нам бытие — разгонное «ать-два!» Молчанье,.. непрактичная причуда, надрезанная местью тетива. (1984)

Россия — это спецучреждения. Раз и навсегда победила психология детского сада: сплошные «секретики»! Страна просто помешана на них. Может, и хорошо, что так. Для людей с ограниченными физическими возможностями есть специнтернаты, спецприюты... А для людей с ограниченными нравственными и моральными возможностями — тюрьмы, религия, конституция, реклама...

Талант не продавался до тех пор, пока его... купить не предложили! Взвыл интеллект, как заводной мотор: «подмазали» его и «закрутили». Таланту, прямо скажем, не до звезд, полет перенесен на послезавтра, — фортуна дергает, как ящерку, за хвост, за яйца золотые, за пластиры! Талант не продается? Это вздор! Косая Муза прыгает в бутылке. И что мораль? Себе ли ты не вор, обменивая шило на обмылки?! (1977)

Слова — удивительные разведчики! Они способны подняться над событием и даже намного опередить его, способны создавать в любых временах мосты и ловушки, они — гении образа: слова рисуют то, что видит и слепой.

Придет человек и догадки мои разложит по цифрам и полкам, в пустующем доме мздоимствуя, и — докажет чего-то уверенный дока. Припишет этап, обрывая строку, изучит ошибки, неспешный: и сторону эту, и сторону ту, скукожив мыслишки под линзой плечи. Надеюсь на то, что посветит ему удача нечаянным бликом. И снова возникнет вопрос: почему не хватит и века паломникам мига? Иди, человек, ты себя не сильнее: возьми, что возьмешь, мне отдай — сыновей! (1977)

Энциклопедия личной жизни — блеф, глупость. Всем управляет стереотип. В 33 года я нечаянно протрезвел и с ужасом обнаружил: мир некрасивый и нечестный. Он — марионетка в руках у марионетки, которая, в свою очередь, тоже чья-то игрушка. В чем же смысл моей-то жизни? Создавать свою собственную марионетку, личную жизнь?!

Прошла пора попок и претензий, лысеет череп, бегаю трусцой, живу психованный — квартиры тихий Цезарь! — полураспад отметив возрастной. Мой телевизор идолищем светит: пускай война, тайфун или потоп — живу незыблемо! Лишь синий телеветер привычен, как молящемуся поп. (1982)

Спасение — в безоговорочной вере. Именно безоговорочная вера легко и просто оправдывает утрату амбиций, интеллектуальную ограниченность, а также любую другую человеческую лень и подслеповатость. Более того: даже порок становится приятным — всегда есть ложный способ «замолить» непоправимое.

Мир говорил мне: «Люди братья!» Но кто-то съел наш «соли пуд»; Христы, гуляя в поисках распятия, обычно превращаются в Иуд! Любовь шептала: «Мой навечно!» — избранник с цепью на устах, примета есть: чем клятвеннее речи, тем богу веселей на небесах. Толпа стена-ла: «Равенство и счастье!» Но шельмецу шепнул шельмец: «Дурак, слоняясь в поисках причастья, как правило, находит кладенец...» Молчи, молчи! Молчанье — золото. Так молчалив небесный Он! Воспитываем в

детях гордый фатум, а сами превращаемся — в поклон. (1979)

Уместна, пожалуй, и такая мысль: перед тем, как начать верить в любого предлагаемого «бога», человек перестает верить в себя. Обычно его умело заставляют это сделать: от себя отказаться — в детстве или при помощи несчастья, страха, разочарования, растерянности или слабости.

Непротивленью злу насилья странно: крепки иллюзии стяжащей чехарды! Пока вы молитесь, под стены ваших храмов кроты вскопали черные ходы. Став просвещеннее, вы крестики надели, спасая шкурку в облике души; что проку в еретическом елее, покуда скверна дышит и кишит? Ах, страшно замараться? Ручки святы?! Тяжелое прилипчиво всегда! Но что вы сделали, чтоб не был мир распятым, охаивая власть и города? Приспели сроки щупать беззаконье, сгорает вера, усквозив за рубежи, — в огне отмоются слова от лишней вони: от крови взгляд и души ото лжи! (1977)

Снилась мне мизансцена, напоминающая последний Суд. Перед глазами проплывает в клипах-эпизодах прожитое время: пространства, люди, образы, хорошее-плохое... Голос спрашивает строго: «Твоё?» Юлить, понимаю, бесполезно, отвечаю мужественно: «Моё». А Голос тут же и реагирует: «Забирай тогда всё, владей на здоровье!»

Когда распадется гордыня, целебно-стерильна, как йод, душа, наконец-то, отныне — поднимется и расцветет. Корявые наши посулы уйдут в исторический хлам, и слезы на горные скулы стекут по живым облакам. И войны, плоды пресыщенья, наследники вряд ли поймут. Не выпросит доли прощенья наемник — невольничий труд. Плечами пожмет на «богатство» любой из властителей тех, кто лично свободен, кто — братство, кто — путник, не знающий вех. Скорей распадайся, гордыня, целебно-стерильна, как йод! Душа, наконец-то, отныне поднимется... Или — уйдет. (1977)

Вокруг реального невидимого всегда вертится масса шарлатанов, спекулянтов, которые сами по себе мало что значат, зато «при ком-то» или «при чем-то» они — величина! Невидимку-веру можно «раздуть» до величины чудовищной. И шарлатаны тогда обретают чудовищную власть.

Нет изворотливее зла, чем покаянье; взаимный грех — блуждающий исток... Сосредоточенней курителей кальяна, смердящий Запад двинул на Восток. В московских кулуарах и в «глубинке» сознание — само себе хирург: в Сибири филиппинские картинки секретно зрят ревнители наук. Мамаши малышей рожают в ванне! Шабашники латают монастырь! Спасаемся. Как гниды перед баней. Сенсации читаем, как Псалтирь. Кондовый Ваня ходит в индуизме; не батник — вера импорт-

ная тут! Политики твердят о новом «изме», под килем танкеров — воды последней фут! Сосредоточенней курителя кальяна, смердящий Запад двинул на Восток. Покаемся! И инопланетяне нас выудят плотвой за волосок! Программы обученья, покаянье, открытый грех, блуждающий исток... Рождаемся — душонка обезьянья, а умираем — тесен потолок! (1979)

Прошлое — прекрасный напиток! Его можно пить душой и сердцем. Отстоявшееся, перебродившее время необычайно светло! Мутное «сусло» повседневности, «тяжелый осадок» перемен — всё на дне; не баламуть прошлое до самого дна, не порть вина времени! Прошлое — не урок; прошлое существует для наслаждения.

Противоречие заложено, как бомба, в двух «полумассах» полушарий головы, и зло стоит артериальным тромбом в кровеобильной сущности живых. Преодолев века, как ток сопротивления, дела людей загнали в море лжи... Последний из махатм — ужасный Ленин, единственная правда — жажда жить.

Я — трудоголик. Работать люблю, умирать начинаю от бездействия, тупеть, терять мотив жизни. А без мотива — какая песня?! Весь этакая говорящая лошадь: «Хомут! Еще хомут! Только вот уздечки, пожалуйста, — не надо...» В том-то и беда, что в России очень трудно жить и работать «без уздечки».

Если жизнь обожгла, как магнезия, если страшно за то, что допреж, если лозунги вместо поэзии — значит, рядом резвится мятеж. Жизни дело вдруг стало пропащее, жизни цель пошутила с тобой, сердца проповедь зла и навязчива — это ангелам хочется в бой! Крови жаждает культ, омовения, тихой вере затворничать блажь, смерть бессмертна как форма творения, и мираж вытесняет мираж! Значит, целому время быть надвое, значит, срок восхищений истек, значит, буква Конца есть Заглавие, и в согласьи пророк и курок...

Палениной несет от поэзии, самозванством несет от невеж! — Жизни правда, гуляющая бестия, к небу тянет тоннельную брешь. (1981)

Для создания чего-то действительно бесценного достаточно снять бирку с ценой. Именно «бирка» мешает мне любить в России то, чего здесь нет, не было и никогда, наверное, не будет — Родину. На всем, на всем вокруг есть своя непомерная цена: долг, вера, обязанность, деньги, кровь...

Кому Родина мать, кому мачеха; попреканья за крохи сполна! Обвели, как сопливеньких мальчиков, стариков за ее ордена. Где-то землям сыны, где-то пасынки, дни парадов блестят, как рубли, и текут наши речи-побасенки: обвели, дурачьё, обвели. Расстараться б! Да любо — не любое: воли нет, злое дело тюрьма; всё целую в разбитые гу-

бы я землю, мать мою, плачет она. Всё шепчу ей хорошие весточки, завиральные, может быть, зря: за Уралом снега, как салфеточки, укрывают ее лагеря. Люди, люди, опять замаячила новизной, что пока не в чести, то ли Родина-мать, то ли мачеха: не помилует и не простит! (1983)

Человек, испытывающий чувство благодарности, раб. Чувство благодарности — его внутренняя цепь, которая держит покрепче железной. Только этим и отличается внутренний раб от раба подневольного.

Что ж, надо рисковать быть понятым неверно, иначе не сказать несказанного, нет! Заветов наших рать стерильна, как консервы, центральная печать продажнее монет. Что ж, надо начинать ошибочней ошибки. Иначе: ночи жать не месяцем-серпом, иначе можно ждать фортуновой улыбки не годик-часик, чать, а кончить — сапогом! Опутан и ведом, ты прост до удивленья, гуляет с естеством витийствующий бред, и подано — родством! — проклятье поколенья: вот «ксива на убийство» — военный твой билет! Унижен человек. В его «рабочей» книжке отмечен каждый шаг, тем более — шажок... Равнение на флаг! Ферзями ходят фишки! Свистает всех наверх заманчивый рожок! Что ж, надо рисковать быть понятым неверно, иначе не сковать не скованного, нет! Заветов наших рать — с «бамбашкою» консервы... С чего посметь начать? И так: «Да будет Свет!» (1984)

Люди — существа постепенные. Они постепенно узнают себя, друг друга, учатся, опускаются или поднимаются, постепенно читают судьбу, страницу за страницей... Потому что мгновенно не удается «прочитать» ни-че-го!

Полегли в шутовстве под копеечный трон «самородками» ночи-эссе... Как хранил тебя бог, знает только лишь он, как бранили тебя — знают все. Сердце-чучело шпилькой зачем-то кольнув, докурю за гостями «бычки». Всё проходит, мой друг: целомудренен слух, и бесстыдны пустые зрачки. (1979)

Предел всему виной! Сколько всевозможных планок, барьеров и барьерчиков, запретов и окриков «Низ-зя!» вокруг нас! Боже, а сколько их, паразитов, внутри нас! И благо, и гибель в этом разнообразии. Предел ведь может быть очень высоким, как идеал. А может быть раздробленным, низким, почти непроходимым для нормальной жизни и бесполезным для высших устремлений. Как в России, например. Нарушитель примитивных границ всегда кажется тому, кто их охраняет, врагом; любые поступки свободного среди опутанных — глумление, а любые его речи — кощунство. Человеку невозможно продвинуться там, где неподвижны границы.

Как это случилось, не знает никто, да и что там: я сам себе сказку

одну рассказал, как жил человек и носил он пальто не по росту, свое или чужое? — он этого просто не знал.

В трамваях случайно на полы пальто наступали, подать другу руку мешала длина рукавов... Все видели это, шутили и громко смеялись, и не было друга, похоже, нигде для него.

Весна приходила, дразня обещанием лета, долги притекали и вновь утекали долги. По чьему-то злему пошел человек, по совету — пальто не по росту менять на малы... сапоги. Привал за привалом, идти в сапогах невозможно! Возможно остаться, возможно рыдать над собой. Заплачет не он! Он идет, он идет осторожно: менять сапоги на какой-нибудь вечный покррой.

Как это случилось, не знает никто, да и что там: я сам себе сказку одну рассказал, как жил человек... И — нашел он одежду по росту! А старую? Старую, видно, кому-то отдал. (1972 г.)

Я знаю, что все люди чужие. Но к любому из них я отношусь, как к родственнику. И мне не понятно: почему родственники относятся друг к другу, как чужие?

Мое бедное поле в году этом черном не родило хорошего хлеба; ветер злой или ворог осыпали зерна, и живого дождя не послало мне небо.

Я иду, на короткую тень наступаю: что там, в небе моем нестерпимом? Мне уйти бы загадкой, как жителю племени майя, да, как видно, влюблен в этот ветреный климат.

С кем столетье столкнет? Дружба пьется без позы: разлетимся, как осенью птицы... А над полем осыплются чертовы звезды! — если что-то взойдет, я готов поделиться. (1973)

Где-то в носу у нас свисают, как мох, малюсенькие клетки мозга, отвечающие за сигналы обоняния. Все остальные раздражители мы получаем в закодированном виде, через специальные приборчики-рецепторы, так сказать, через посредников. А вот обоняние мозг почему-то не доверяет никому: сам нюхает, напрямую. Наверное, истина — в запахе! Самые тонкие наблюдения относятся именно к этой стороне чувств. Ну, например, даже я заметил: в первые годы нашей совместной жизни жена перед сном ела мятные таблетки, а сейчас — ест чеснок. Запах изменился: моим мозгам есть над чем поразмышлять...

Ты предан? Да, ты предан. А счастлив? Да, вполне. Что будет? Ходит следом любовь, которой нет. Ты любишь? Да, ты любишь. Ты гибнешь? Черта с два! Зачем же, точно рубишь, остры твои слова? Ты едешь? Вряд ли едешь. Нет денег? Может быть. Твои мечты, соседи, пришли поговорить. Запутай глупый узел, качни Луну рукой: ты враг свой и союзник, а лучше б — часовой! Ты выбрал? Что ты выбрал!

Ведь этот занят крест: крылом полу-улыбок, крылом полуневест... Ты любишь? Да, ты любишь. Ты помнишь? Ты забудь! Ты будешь? Да, ты будешь. Ты сможешь? Как-нибудь. (1973 г.)

Идеализм внутри человека должен расти и увеличиваться пропорционально росту всей внешней безнравственности, иначе не удержать в равновесии ни самого человека, ни его мир. Старики справедливо говорят: «Плохо!» Впрочем, они умрут и, как всегда, будет еще «хуже», то есть, по-другому. И появятся иные старики, но скажут прежнее: «Плохо!» Поэтому я учу своих детей сразу двум вещам: идеализму и старости. Так я желаю им счастья.

Не кормите собаку из рук, она к добрым рукам привыкает; доброта — тот же замкнутый круг: кто скулит, тот уже не залает. Не кормите собаку из рук, не зовите свободу: «Бедняжка»! Вдруг не выдержит эту хвалу благородное сердце дворняжки? Ведь за лакомый жизни кусок можно выменять преданность слабых, так, что будет крутиться их хвост очень весело даже в облавах! И когда руки лижет вам пес, может, только что громко рычавший, обещайте еще одну кость — в его сытую душу и в чашку! Белый хлеб не схватить бы из рук... Пес озлоблен гордынею тяжкой: трудно выдержать псу похвалу по плебейским законам дворняжки. Накормили собаку из рук, благодарная морда сияет! Но однажды послышалось: тук-тук-тук-тук! Это — в дверь!!! А собака — не лает... (1977)

Замечательно, когда больной всё время говорит о здоровье: он нацелен на лучшее. Но в жизни гораздо больше противоположного: больной говорит о болезнях. То же и в искусстве. Самая трудная вещь в искусстве — это оптимизм. Приведу примерчик из запаса личных метаморфоз. Я долго не лечил зубы. А зачем? Ведь человек всё равно смертен. К сорока годам я начал понимать, что ошибался... Таким образом безразличие кончилось и я встал перед выбором дальнейшего пути: все-таки пессимизм или оптимизм? Победило искусство!

Только спросят меня: «Как живешь?» Рассказать бы об этом детально! А в ответ, будто сам себе врешь, отвечаешь: «Нормально! Нормально!» Только спросят меня: «Как дела?» — Это то, что вообще нереально... Будто в лодке, один, без весла, по течению гонит — «Нормально!» Я играю в «глухой телефон», и партнеры мои любопытны; для своих я, как дом под замком, для прохожих я настезь открытый. Это значит: свои не поймут, а с чужими поплакать не стыдно, что друзья, как в районе Бермуд, исчезают, и это — обидно! Ну, а спросят меня: «Как семья?» — раздражая вопросом скандальным, но опять отвечаю всем я удивительным словом: «Нормально». Я привык ко всему, что не так, у меня всё всегда идеально, и, как фокусник, — шар изо рта! — не устану плевать: «Нор-маль-но!» А вокруг стройный хор голосов, что

ни день, точно праздник пасхальный!.. У меня просто нет больше слов: «Всё нормально! Нормально! Нормально!» (1976)

Песни-кричалки тем и хороши, что они, собственно, слушателя даже не предполагают; задача «кричалок» — глушить вопль отчаяния внутри автора. Дикие эмоции заставляют лицо исполнителя гримасничать, а всех, кто оказался рядом, смущенно отводить взгляды и терпеть насилие над барабанными перепонками. Минута, две, десять... Наконец, сеанс исполнения заканчивается. Наступает тишина. Опустошение. Комфорт. Всем теперь действительно хорошо.

Люди добрые, точно воры вы, растащили до тла доброту... То не пес ручной бешен с голоду — от злобы зазяб на ветру! Показали кость, да не дали сгрызть, поманили в дом — дверь захлопнули! Причесали шерсть,.. а за то, что выть вздумал: цыкнули, да притопнули. И сапог лизал, и в глаза смотрел, тишину стерег, цепью лязгая. А в глазах моих, как огонь, горел уголь-ненависть пса хозяйского! Только зря спешил, обломал клыки, оборвалась цепь, ржой изъедена; бил в ворота лбом, отбивал замки — отворила дверь дочка ведьмина! Что шарахнулись, псы-братанчики, али горе вам — пуще вольности? Побегать на свист, — эх! — заманчиво, а под выстрел грудь — много робости. На круги своя духу хватит ли? Распалила — гей! — сила новая: то ли блудный сын блудной матери, то ли гордый зверь околдованный? А во след кричат: «Семя чертово!» Поперек секут прутья голые! И куда ни плюнь — сердце черствое, и куда ни мчись — время подлое! То ли брод ищу, то ли омут я... Ноги-ноженьки, вам бы выспаться! Чую вновь жильё незнакомое: я пойду туда — чтобы вырваться! А хозяин рад. Мне так — в горле ком! Накорми, авось, здесь без привязи. Вот ошейничек с колокольчиком, вот в заборе щель, да не вылезти... Люди добрые, точно воры вы, растащили до тла доброту. Вот и пес ручной скалит морду: от добра зазяб на ветру! (1975)

Обычно я жду, когда вижу, как сразу несколько дорог судьбы предлагают свой выбор. И не просто жду, а — замираю в особой неподвижности, полнейшем опустошении и безразличии ко всему. Это важно. Потому что каждая из дорог — это еще не пойманная Жар-Птица, и важно ее не спугнуть, важно не мешать ей, чтобы она сама тебя выбрала. Какая выберет — туда и пойду.

Если лгу, то грешу против истины, если прав, то грешу против лжи... Как под яблоней золотолиственной Поле-Перекасти затужил! Нам бы в этом раю, хоть и временном, золоченые рвать бы плоды! Но, увы, местным Змеем осмеяна, отхлебнула беда от беды. Яро встретятся степи горящие, в семенах укоротятся дни; не возлюблены жизни пропащие: Поле-Перекасти, отдохни! Нет у вечного странника родины, где развеялись дети его? Даже соки земли ему вроде бы без нужды, как мун-

дир без погон. Поле-Перекасти, нынче засуха! Поле-Перекасти: жизнь — за две! Волга перекастилась за Астрахань, чтобы Каспию не овдоветь... Поиздергана сыть суховеяная, под копытами страха нет сна, Поле-Перекасти, вон шоссейная поле — перечеркнула струна. И держава, и песни не истинны, шляпу сняв, я стою у межи: за дорогой той золотолиственной то ли сад, то ли поле во ржи... (1980)

Время в нормальной человеческой жизни — величина линейная, непрерывная, луч развития, под углом уходящий в неведомое. Русское время — пунктир, где каждая черточка — кусочек, заимствованный у соседей. Наш «особый путь» — обыкновенное воровство. Даже время.

Ступени вырубил не я, иду, во мраке нем, а в центре мироздания играют реквием! Ступени вырубил не я друзьям, сошедшим вниз, в ушах — набат молчания, а в сердце ноет риск. Ступени вырубил не я для тех, кто лезет вверх: какая там компания, какой там фейерверк! Ступени вырубил не я... Раздумий жалит рой: ведь что ни день — заклание, и что ни шаг — герой. Ступени вырубил не я, вздымаю факел, нем, а в центре мироздания играют реквием! (1974)

В идеале время — это точка. В точке времени нет. Как у бога. Может, поэтому русская душа так стремится «дойти до точки»? Каждый здесь ищет свой собственный вариант. В одиночку. Поскольку живое мгновение — не для толпы.

Что ни мачта, то гнется тростиночкой, и душа замирает, как выпь. Может, с нашей скорлупкой всё иначе? А вокруг — только мертвая зыбь! Ладим дребезги: щепки разбившихся джентльменов, увы, неудач; тридцать третьей бедой навалившейся стала песня раздевшихся мачт. Эта мертвая зыбь, как проклятие: нашим пасторам исповедь лжет! Будто стали при жизни мы братьями, да за каждым остался должок...

Хоть в одежды рядись протестантские, разве против стихии попрешь?! Надо б души открыть, как «Шампанское», иль продать их, хотя бы за грош. Но пока что еще на поверхности, всё не верится в мрачную глыбь; мы под парусом купленной верности нарвались на проклятую зыбь! Разберемся, авось, по порядку: кто с похмелья на вахте стоял? Души тонут богатые сказочно — это пасторам нашим аврал! Ничего, что дойдем по наитию, ничего в этом сне не забыть, — до экваторов нашего жития через — черт возьми! — мертвую зыбь. Через мертвую зыбь беспросветную, соплеменникам руку подав, этот путь не хуля и не сета: время-первенец скажет, кто прав. Заломилась жизнь, как тростиночка, расплзается звездная сыпь... И пророки скулят: «Будет иначе!» А вокруг — та же мертвая зыбь. (1978)

Мы живем на девятом этаже, окна нашей кухни выходят на город: видна перспектива крыш, двор, автодвижение на дороге, люди, и над всем этим — непрерывные, шевелящиеся в облаках небеса, да пролетающие изредка птицы.

Юность тещи прошла на БАМе, в вагончиках и поездах. Она часто смотрит из окна девятого этажа куда-то... «Как будто в поезде едем! Сидим у окошечка, смотрим... Хорошо нам!» Да, день за днем сидим мы в нашей, плывущей над миром кухне-путешественнице, и смотрим, смотрим, смотрим... И я, и жена с дочерью, и котик наш, Мессинг. Жизнь на жизнь смотрит: кто мимо кого проплывает? И впрямь хорошо: за окном не стена товарняка — простор! Повезло нам с этажом.

Я спрячу Родину в себе, когда она меня не спрячет... Эй, чья там слава на столбе, и почему отец мой плачет? Лопата — в землю! Три штыка... Комендатура срок заводит. Не в трех шагах — издалека! — они пришли, и — в ночь уводят. И ты кладешь земной поклон: Восток и Запад, тьма и ветер. стакан недопитый, как стон, земли-вдовы седые дети... Я спрячу Родину в себе, когда она меня не спрячет. Не став рабом чужой удачи, я поклонюсь судьбы трубе. (1975)

Беззаконники создают законы: для того, чтобы подданные могли верить в «правду» от имени закона.

В дружной стае ворон не бывает чудес, в дружной стае ворон все равны: если падаль, слетается шабаш их весь, словно черно-крылатые сны. В дружной стае ворон без имен и без виз, в дружной стае ворон, под шумок: если падаль, на падаль торопится вниз даже белого цвета едок! В дружной стае ворон слов и личностей нет, в дружной стае ворон клюв и глаз. Я на профиле строгом чеканных монет Мефистофельский вижу анфас! В дружной стае ворон оперенье — пароль, в дружной стае ворон та же прыть: если падаль, на падаль явиться изволь... Извините: всем хочется жить. (1984)

До тех пор, пока ты подражаешь другим, ты не можешь стать самим собой. Но, не подражая другим, ты можешь стать лишь пылью.

Есть время чувствовать себя, как кокон: пригрело бок и не пора ль раскрыться? И льется свет направленным потоком: не знает кокон, что мир — теплица! Дух эволюцию на спор не звал, когда плафон тысячеваттный вспыхнул! И мотылек, стеклянный видя зал, запричитал: «Эй! Где тут выход?» Ему растения шептали: «Брось! Мир за чертой? Он бездыханно-льдистый!» Но бился в стекла этот в мире гость: самоубийца из оптимистов. Будь проклят ты, тысячеваттный свет: нектар в желудке, и в сознании пусто! Но вот Садовник приоткрыл секрет... За дверью свет, за дверью свет!!! И мотылек порхнул в безумство. (1984)

Однажды я почувствовал потребность внести свою лепту в критику дарвинизма, поскольку всё живое мне кажется продуктом неведомого «конструкторского бюро». Очень ведь много в организмах унифицированных «блоков», применяемых в самых разных случаях, есть оригинальные технические решения, но есть и откровенно неуклюжие. (У нас девочки после института попали в КБ, схемы и блоки рисовали; ох и наматерились же мы после их «творчества» на производстве!). А еще случился мистический опыт: довольно долго мерещилось мне «всемирное» увлечение в мире ангелов, что ли, — околосемный народ бабочек конструировал, мода такая случилась, кто во что горазд! Ну, результат мы все знаем...

У хорька рождается хорь: хромосомы! У зверька бурундучка — бурундук; у природы, ты не спорь, всё закономерно, ничего на шармачка или «вдруг». Если лошадь Горбунок, то потомство унаследует горбы, так и знай. У собаки — свой щенок. Без пижонства с попугайкой живет попугай. Ничего не изменить в этом мире: глупый заяц для лисы лишь обед, крокодилам слезы лить — племя хмырье. У котиков растут усы тыщу лет! На яйцо садись, хоть слон: будет — птичка! Так давно заведено, надо знать: у сома рождается сом-невеличка, даже злак-пшено пшеном хочет стать. Хромосомовый секрет чтите свято, под водой и на земле — к веку век! Почему — ответа нет! — непонятно: родился у шимпанзе человек?! (1984)

Ирония в наших местах — со «специями»: горчит. Опущенным в России внушают обратное: мол, они избранные, они — возвышенные. Свобода падения выдается за свободу полета. А опускают нас все, кому не лень: законы, тюрьмы, алкоголь, религия, бедность...

Рука должна быть «первой» и «своей», а повезет, вообще «мохнатой лапой», язык, при случае, обязан быть длинней, нога короткою, ступающая сапой! Да, есть уменье: рот чтоб на замок, чтоб на макушке ушки тот же час, нос по ветру, коль дует ветерок; бревно — твой долг! — верни соседу в глаз. Чем толще шкура, легче когти выпускать. И зубы чтоб показывать, учись запасец каменный за пазухой таскать: ты первым бей, гляди, не промахнись! На шею сесть кому, иль печень выедать, лизать гузно, иль в горло, как абрек... Топить! Душить! Сорочка продать! Узнали? Современный «человек». (1984)

Любовь не нуждается в отражении. Это феноменально: жить жизнью лишь в одну сторону! Без обратной связи, без «квитанции о получении», без критики и оценки. Выходит, нет на земле никакой любви! Потому что шагу без «квиташки» не сделать! Я отражаю, меня отражают... Можно подойти к зеркалам поближе, можно убежать от них подальше, разбить отражение или разбиться самому... Всё можно. Всё, кроме любви.

За кем я топаю? За кем-то топаю! За мною штык, и снег: хрум-хрум! А рядом, в зеркале, шагает копия: и там, и тут — хрум-хрум! — конвой-ведун! Зачем же, братцы, я ботинком бацаю? Котомка тощая, мне бы привал! Те, двое, крепкие, гундят по рации, а я не слышу их: я — интервал. Куда я топаю? Куда-то топаю! У них и карта есть, маршрут и цель. Они нормально спят, я ж голой жопой в потемках щупаю земли постель... Ведун в цилиндрике, ведун в фуражке: как палка голенький, стою во фрунт! На лоб приклеена звезда-бумажечка, потрогай пальчиком, а лобик: хруп! (1983)

Злорадство — в крови. Друзья рассказали: мужики пошли на Северный полюс, не смогли пройти, провалились — вечные льды тают! Пятикилометровой толщины антарктическая «шапка» в океан стекает, через двадцать лет обещают катастрофические наводнения, подъем уровня океана на десять метров, перемещение климатических границ... Пугают, может, а, может, и нет. Мрачные пророки никогда не ошибаются. В России обещают субтропики, наиболее выгодное положение, черноземную житницу в тундре. Как тут не радоваться, аж кровь кипит от нетерпения! (2004 г.)

Вредить природе можно как угодно: среда земель нам вечно «постный день». Коснитесь, граждане, до бестии подводной: мы все из вод, и жить еще не лень. Нас НТР всех учит «погружаться»: в предметов суть нырнул и не видать! Но знаю я: спасители боятся глядеть в ту сторону, не то чтобы спасти! Мы пузыри пускаем и на суше, уйдя в сомнамбулу, в «бусидо», в «Капитал»; мы «третий глаз» в обмен на наши души, авось, получим, как магический кристалл! Ну, а пока гарпуны пьют железо, и глаз один подводят под прицел... Из тьмы веков жизнь тянется — порезом! — сквозь сферу хаоса, как пашущий прицеп! Как малышня в игрушки верит свято: в смерть понарошку, в автоматика и танк; им нет спасенья, восхищенным, от крылатой полузащитницы и хищницы атак!

Мы — страусы. Пустыни в дефиците. Среда земель — кладбищенская тень... Вся диалектика, не притча ль о корыте? — Мне не по нраву эта всеуе суетень! Своя над сверхестественным управа. На что надеяться? Зевес — сухарь и гусь... Я выпью кубок, где доверчивость с отравой: уменьшу яда и — в планету погружусь. Включайтесь, граждане, в борьбу за очищение двора от мусора, а магии от чар; готово всё для их совокупленья, коль продолженье чуда — не пожар. Авось, авось: природа будет рада, спадет пиджак, хляк расправит грудь, нырнет к дельфинам и обнимется, как с братом, с одним из них, и скажет что-нибудь. (1982 г.)

Ядовитые змеи — символ мудрости, неядовитые — символ... Черт, чего же они символ-то? У меня есть один очень ловкий приятель, — настоящий уж! — ласково обовьет любого и выдоит требуемое. Я следил за ним, изучал.

Техника простая: с незнакомым человеком он сразу начинает вести себя, как самый близкий друг — безотчетно включает «инстинкт близости»; далее совсем просто — можно пользоваться доверчивостью, как доверием.

Он сам «таскал каштаны из огня», без признаков держался, не форсисто, но было подозренье у меня: удачи цепь состряпана нечисто! Приветливее нимфы, как всегда, сиял он, доллар, кашлял деликатно... А я твердил: «Всё это — ерунда: за яркостью есть солнечные пятна».

До сотни он одалживал легко, ходил в дома, наш ставленник месткома! Я щурился: «Брат, что-то тут не то...» Мы рук не ждем — считай, что не знакомы. А он не обижался: «Хорошо...» — и тихо так сидел в углу конторы, лишь пепловой порошей замело его столешницы стандартные просторы. А я не унимался: «Докажи, что наш ты, а не черненькая фея...» Из горла он, как тяжкие пыжи, слова давил: «Я, извините, не умею».

У бредня жизни крепкая мотня! И я глядел судьбу с антифасада; он «вычислил» и вытащил меня, обжегся, но всё выполнил, как надо. Он так же пепел крошит на столе, подходит первым, руку подавая, — он будто бы гуляет по земле! А я крадусь, как сволочь записная. (1985)

Религиозное посвящение — это операция: режется связь между Духом и душой. Посвящение — это кастрация. На место Духа встает манипулятор и «подрезанная» душа верит ему, как высшей силе.

Невыносим, как альбинос, вопрос без драки — не вопрос, такой сутулый, ждет закланья... Пока не прост, он встанет в рост! Но тень — перстом! — на слов погост вдруг упадет: как восклицанье! Так что вопрос? Там — перенос... Живем без драки. Выше нос: в стране значочков — заблужденье. Тут что ни пост, то и погост! Вопрос не прост, он встанет в рост и — превратится в предложенье. (1991)

Жена мне запрещает говорить комплименты женщинам. Потому что я говорю правду. Вот свежий случай. Поэтесса на публике читала стихи и показывала нарисованных бабочек. Она очень любила изображать бабочек, да и сама чем-то напоминала это живое украшение летнего пейзажа. На все вопросы: «Ну, как?» — я отмалчивался. Наконец, поэтесса не выдержала: «Почему ты мне ничего не говоришь? Что? Плохо? Очень плохо? Или, наоборот, хорошо, завидуешь?» Пришлось сознаться: «Да я просто боюсь говорить что-либо... Скажешь, а с тебя — пыльца килограммами повалится! Кому охота быть обидчиком нежных!» Всё, в дальнейшем «бабочка» с вопросами — не трепыхалась.

Я выпил правды горькое лекарство, в глазах плывут колбасные круги: сказал министр торговли по-татарски: «Воруют все, садятся дураки!» Узбек базарный светится, как фара, в Норильск из Нальчика

гвоздичка прибыла. Страна Гагарина? Нет, родина базара! Жаль, мать моя с армяном не жила... Хохол кабанчика «увел» из племсовхоза, якуты копят твердые шиши, и, сделав стойку, стойко встали в позу холодные, как звезды, латыши. Да как же так? Наверно, тут ошибка, по Конституции жующие — равны: «Якши, товарищи! Не шибко тут, не шибко! Спасибо, есть буржуйские штаны». Я слышу, как расставлены акценты, как покупатель выговаривает: г`рэ,.. и держат вещи — хваткою цемента! — душонку под коньячное амбре. В базарный день торговцы голосисты, кацо виляет: нет на нем креста... Воруют — все! Нечисто всё, нечисто! Эх, Ваня, Ваня, сказка, да — не та! (1987 г.)

Шли ежегодные военизированные детские игры «Зарница». Под редакционную машину кинули небольшой взрывпакет, ухнуло, водитель сказал: «Мать вашу!» Каждый год я писал об одном и том же: ура! вертолеты! ура! дети-патриоты! ура! автоматы! полигон! ура! ура! Каждый год эту буффонаду на пересеченной местности возглавлял Герой Советского Союза — Георгий Сергеевич Томиловский. Золотую звезду героя я, изловчившись однажды и уловив момент, тяпнул зубами. Твердая. И без клейма, без пробы на тыльной стороне. Одна из самых первых.

Песенку «Юнармейская» я спел как-то школьному военруку из района. Обычно песенка вызывала задорный смех. Военрук же выслушал меня очень серьезно и сказал в конце: «У нас на прошлой неделе тоже несчастный случай был. Пацан пацана из мелкашки убил. Судить меня, наверное, будут...»

Бодрый духом не житейским, командиру смотрит в рот — пионерский, юнармейский необученый детвзвод. Юнармеец, парень славный, пострелять, конечно, рад; ничего, что деревянный не стреляет автомат! Эх, научим чують локоть! Дисциплина — не напасть: можно что-нибудь потрогать, даже что-нибудь украсть! Поражает номер «пятый», — может, промах? Никак нет! Деревянною гранатой деревянный силуэт! Сам полковник Томиловский животом идет вперед, и, как орденской полоской — награждает взором взвод: «Будешь сильным, будешь смелым! Вдруг придется воевать?!» ...Пионеров, между делом, научили убивать. Научили, научили, на «отлично» — убивать. (1982 г.)

Жизнь — это физическое место, в котором накапливается особая «сумма» бытия: время, опыт, сила, деньги, вещи, традиции. Подлость государства заключается в том, что оно делает «местом вложений» не самого человека, а какие-нибудь дурацкие конторы. Поэтому «прибыль» себя самого получить очень трудно.

Я болею, болею, болею... То вдруг свинка, то корь нападет! Ох, когда-нибудь я околею, наглотавшись микробных невзгод. Но устроена плоть хитроумно: злые происки сводит «на нет» в организме, покуда мы юны, замечательный иммунитет! Веселее шагай, веселее! Опти-

мизм — наш наследственный ген! Только вечно мы, «вечное» сея, пожинаем культурненький хрен... Ох, не смею я сметь, не умею: что ни день, то «залет», то «провал». Едоки канцелярского клея наплескали второй бы Байкал! Я болею, болею, болею... Но не действует, кажется нет, — супротив канцелярского клея замечательный иммунитет. (1984)

Поделиться слабостью можно только со слабым. И ещё: когда я перестал надеяться, то стал свободным, а, став свободным, я сделался чьей-то надеждой — и это вновь лишило меня свободы.

Я в рай постучался, как в стену глухую: «Впусти!» — говорил я, — «Пожить!» — восклицал. Но вышел навстречу, спокойней холуя, архангел в ливрее, небесный швейцар. Аж нищим прикинулся, лодочкой ручка: «Папаша! С Урала я! Дай передых!» Но, медноголосый, басил он тягуче: «Впустил бы, да больно вас много таких...» Он дал мне совет, как стаканчик на блюде: «Земная стезя — это тот же ликбез; ступай, дорогой, прежде выберись в люди, уж после, Бог даст, постучишь до небес!» (1986)

Наверное, есть зависимость: те, кто живут высоко, испытывают тягу к путешествиям значительно меньше живущих внизу.

Кто против произвола, против дикости, кому хватает совести и сил? Мне кукиш показали: «На-кось, выкуси!» Я поднатужился и — руку откусил. (1979)

Жду 15 минут: вот-вот должно что-то случиться... Потом жду еще 15, еще... Проходит день, другой, год, жизнь... Кто-то уже торопит, а я отмахиваюсь: «Подождите немного, еще бы минуток пятнадцать!»

Ах, что за ночь: опаснее вендетты! — воображения сивушного игра. «Бичам» шептали северные ветры: «Пора, соколики, орёлики — пора!»

...Посередине девственного леса, в нетронутой стихиями глуши, в болоте жили маленькие бесы — холодные пиявки и ужи. И славила свое существование весною лягушачья братва; исконными местами обитанья считалась та застойная вода. Древесное поваленное тело умело грызли юркие жучки, и всё болото булькало и пело, укрывши ряской чистые ключи. И жизнь тут изобиловала жизнью, по мнению старейшины-бобра; справляли тут и трапезу, и тризну глашатаи болотного двора. Так было хорошо и благолепно! Но вот однажды, вдруг произошло, негаданно-нежданно, несусветно — огромное, чудовищное зло...

Руководитель тракторной бригады на лягушонка плюнул с бережка: «Ишь, расплодился! — высказался. — Гады!» И дернул за веревоч-

ку «движка». (1982)

Знакомьтесь — Мотя, соседка по лестничной площадке, грузная полубеспомощная одинокая бабуля, вконец изношенная лошаденка великой державы: «Два месяца в квартире у меня ни холодной, ни горячей воды нет. Умру, мыть меня начнут, — вот грязищи-то натерпятся! Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ха-ха!» Однако веселье Моте подпортили: явился водопроводчик.

Обычное дело для России: этого нет, того нет... Тяжко. Потом постепенно привыкаешь к пониманию: и не надо! Вот уж и это не ценно, и это... С каждым годом «не ценного» становится всё больше. Вот уж вообще ничего не надо и ничего не ценно, а жизнь почему-то всё равно продолжается... Опять тяжко.

Похудели царей бутерброды. Марс потребовал жертву опять! И два мирных соседних народа по приказу пошли воевать. «Наложи эпитимью на славу! Эта слава — как череп пустой; пусть останутся травмами травы и спокойно пьет свет древостой», — так сказал себе воин негромко, душу пряча в бою, будто вор... И упали два тела в воронку, отработав свое, как затвор! Может быть, содроганья земные — это плач, твердью принятых жертв? И, как слезы, луга заливные, гималайские взлеты — как перст! Надоело делить, надоело: раз за разом прожорливей фарс. А над крышей выходит на дело, ухмыляясь, внимательный Марс! Погоди!!! Христианка-тихоня в подметенной избе да без слов... — подвигает поближе к иконе фотографии мертвых сынов. (1986)

Ко мне пришли брать интервью о каких-то «последних событиях». Разговорился: «Ребята, событий — нет! Нет в мире событий! Всего полно: работы, действий, хлопот, люди рождаются и умирают, меняются жены-мужья, вырастают дети,.. — вы меня понимаете? — нас терзают желанья: иметь, избавиться, побывать где-то... Сплошное непрерывное действие! Политики друг другу горло грызут! Сладкий обман имитирует одушевление. Полно действий, полно! Но событий — нет! Нет событий! Их нет на земле уже много тысяч лет! Поэтому извините, мне нечего вам сказать». — Что-то даже напечатали, я не читал, сошел, видимо, за «оригинального».

Полетел комар на ярманку: «Я ль на ярманке не пьян? Комарихи в накомарниках выкомуривают там!» Целоваться нынче хочется! Налетай: мечу — деньгой! С комарихою-наводчицей спит жучочек заводной. Молодежь, каналья, хваткая: «Заходи на огонек!» Комара за птаху сватают: пьяным море поперек! Что за гарпия в юбочночке, гарно кровушки поесть?! Раз попотчевала водочкой, а потом — стянула крест! Ох, ты, ярманка проклятая, как нечаянно набрел: мошкара гребет и хапает, кто нахапает — орел. Ты лети, комар, до ярманки, так и так, мол, всё — не так: едут красные пожарники, делу верному — табак! (1986 г.)

К тому же времени относится пометка в записной книжке: «Родитель-

ская беспомощность выглядит, как непрерывное ухаживание; политическая беспомощность — как тотальный контроль». Накаркал.

Чтобы скрыть собственное важничанье, мы обожаем говорить о чужой гордыне.

Чей окрик дьяволом метался в переплетеньи снежных струй, и мукой адовой казался чей одолженный поцелуй? Что ж, с болью позднего познания жизнь посылает мне привет: есть в униженьи ликование, коль ничего уж боле нет! (1975)

Чем доступнее мир внешний, тем недоступнее становится мир внутренний; возможности одного обуславливают не-возможность другого. Этим наблюдением можно воспользоваться для коррекции. А именно. Ты ведь не можешь отменить рост возможностей вокруг, но в твоей власти поднять планку невозможного внутри себя и, таким образом, сохранить равновесие движущихся миров, золотую середину бытия, восходящую обыденность жизни.

Не надо ни денег, ни крова на первых семейных порах: для счастья достаточно слова о счастье, пришедшем вчера... Не надо искать в разговорах особых чудес и прикрас: будь счастлива в мире и в горе, да это пока — не про нас. Сидим за столом в тесной кухне, как будто за партой сидим, как два музыканта, без слуха, ведомые роком слепым! День будет и, как бы с начала, вдвоем мы по кругу пойдем, и долго в пути этом малом слепой будет поводырем. Как Чарли, смешной и печальный, друзьям своим «делаю вид»: их тоже давно обокрали безумные руки любви! Не надо ни денег, ни крова... Не надо вообще ничего! Как прежде, есть друг непутевый и честная бедность его! (1975)

Целая серия незамысловатых зарисовочек на тему отношений «он и она» появились, что называется, вдруг. Тогда впервые, пожалуй, я понял принцип: наша личная жизнь для творчества — полуфабрикат, скучная заготовка, но если этот материал удачно подкинуть какой-нибудь идее, то идея может начать играть предложенным, кроить смысл и строить узоры судеб.

Ну, вот и всё. Разбойничает ветер. И наш бумажник холод потрошит... Как на твою улыбку мне ответить — я черной ниткой к белому пришит! Летишь ли ты в наклонное пространство, на полпути разминемся в пурге, качнутся ели в тихом реверансе и взгляды оборвутся на дуге. Наш сон прошел, и ветер окна выбил, разбойный снег ты пробудешь на вкус! Из пункта «А» никто из нас не выбыл, чтоб в пункте «Б» отрезать: «Не вернись!» И вновь дугой, стремительной и дикой, помчались расколдованные дни. И праздник наш теперь подобен крику деревьев, что господь не сохранил... Не спорь с душой. Поземка раны лижет. И наш бумажник холод потрошит: стакан вина и сломанные лыжи

нам кто-нибудь когда-нибудь простит. (1973)

Суть невозможно выразить цветом. Только черное и белое. Суть выражается действием: раскрась сам.

Мы немало часов провели в спорах, выясняя: фотограф — это художник или нет? Для любителей наслаждаться цветными красотами мира я даже определение придумал — «энергетический педераст». Выедет такой педик с объективом на природу и тащится от ее совершенства, а потом предъявит отпечатки нашей компании и как бы предлагает: тащитесь теперь от того, как я там тащился. Тьфу! Цвет нужен в полиграфии, для иллюстраций. Цветом в жизни мало что скажешь. Правда, цветом тишину писать хорошо.

Объектив помигает в июле, запылится потом негатив: черно-белые конусы улиц, черно-белые годы и дни. Ты давно босиком не ходила, подари же себе этот миг! Я стою, как всевидящий идол, как ребенок и трижды старик: если радость, то радость без меры, если боль, то целебная боль... Но и ты побеждаешь не первой, и не первый идет за тобой. И на счастье кольцо золотое не посмеешь ты выбросить в пруд; время карточный домик построит, — не пугайся, я время запроу! Отменяйте земное вращенье, уходите на Север и Юг! Сохранит негатив, как священник, черно-белую память мою. (1974)

Наивность обезоруживает только вооруженного. Двум наивным уютно друг с другом. Друзья? Любовники? По-настоящему их очень мало встречается в жизни. Те, кого можно попросить просто так. Остальные — одалживают или одалживаются.

Была рыба хвостом по воде, мы играли с тобою в мечты. Это было всегда и везде, и всегда мне не верила ты. Пробегала по струнам рука, прожигали штормовку костры. Зажигал я костры на века, но опять мне не верила ты... Дом охотничий на берегу, ресторан на примятой траве, удивленный журавль на стогу, и молчание звезд — о тебе. А тебе, как всегда, хорошо; предначертан закон сентября! Машет ветками, как дирижер, голый лес, о тебе говоря. (1974)

Когда-то, давным-давно, мир вокруг был никакой, копеечный, а Человек — богат. Решили они сыграть друг с другом. Игра называлась: жизнь.

Года собираются в стаю: ты спрячь меня, милая, спрячь! Гитара моя не играет, не прыгает порванный мяч. Обид не существенны цепи, беда, да — медовая сплошь! А ты? Ты по-прежнему терпишь любовь мою, светлую ложь. Дай куклам огни карнавала! Возьмите: вот лишний билет... Ах, милая просто устала от запахов щей и котлет. Пусть гонит нам ветер погоду; раскаянья нет без измен! И пьем мы, как мертвую воду, вино за свободу и плен! Куда это всё улетает, куда всё уносится

вскач? Не свадьба, хандра золотая, — седеющих девочек плач. (1978)

Очень странно, почему люди так стремятся достичь хоть какой-нибудь вершины? Я точно знаю: на вершинах очень мало места, одиноко и не богато.

Ничто не потеряно, сэр, еще впереди чудеса: пора обходиться без жертв, пора дни рожденья спасать. Всё явственней праздничный звон и прошлого, как ни жалей: всё реже застольный экспромт, всё чаще большой юбилей. Пора обходиться без слез, но сердце стучит вразнобой: что жизнь твоя, вечный вопрос, как высохший посох, — с тобой. Ничто не потеряно, сэр! Твердишь ты, хоть письма сожгли. Всё будет. Не будет лишь сверх того, что мы в жизни нашли. Как грустно от праздничных жен! Уже не изменишь манер: костюм сигаретой прожжен у вас, уважаемый сэр. (1979)

Был период, мы «цапались» с моей женщиной. И чтобы избежать конфликтов, я бесконечно отступал в глубину мужского терпения и безволия. Обычно рано утром я «запрягал» велосипед и ехал на высокое место у пруда — почирикать в блокнотике. Вечером того же дня напевал, как умел, свое произведение источнику агрессии. На час-другой наступала благодать.

Стою, как вратарь, между ссорами близких, да камни обид парусами души ловлю, не умею я кланяться низко, спешу за бедой и — нельзя не спешить! От берега к берегу волнами жизни не так уж и долго несет челноки: любить бы друг друга, как любят Отчизну, избранники чести — ее старики. Жаль, флаги надежды на век не даются... Разбейте хрусталь на потеху другим! И души, как губы, сначала сольются, а после, позвольте: кафтан для «слуги»! Пстой на развилке: дорогой обратной, признайся спокойно, ты рад бы бежать. Где бродит бессонно старушкой нарядной заветная память — твоя госпожа. (1974)

Нытье заменяет самоуважение: «Осчастливило горе, до безразличия, песенку, жизнь мою птичью!» Много позже я убедился, что идеальный союз в браке все-таки существует: это — любовь кошки и преданность собаки.

Реки вспять не текут, ночью свету нема, даже днем люди тут проживают впотьмах. Что за угол и чья сплетня там, впереди: то растет по ночам, то торопит будить? Ночью молодцев нет, им не жаль красоту; мой единственный свет обронила мечту! Ну, а дальше, как бред в ледящем жару: среди полночи свет и полуденный блуд... Помешался дел ход, как на Страшном Суде: плюнь, погасишь восход малых душ и сердце! Даже днем люди тут проживают впотьмах. Реки вспять не текут, да и рек тут нема! (1979)

Если обыкновенной детской «пустышке» дать разум, то она будет му-

читься: чем бы себя наполнить? Людям, не имеющим своего собственного содержания, эти муки тоже хорошо знакомы. Поэтому заполняется кто чем может, а наполнившись, бережет свое содержимое — раз, и презирает иную содержательность — два.

Прогундосила швабра: «На смену иди!» Заорал что есть сил: «На носу заруби: «Ты иди мыть полы, ты иди чистить лук, я всегда был такой, а не так и не вдруг!» Мне б, кудрявому, жить, по театрам ходить, а не в этой дыре надрываться да пить: чтоб хрустело всегда, чтобы дамы в манто, чтоб английский посол, и, конечно, авто, за прической — в Париж! (самолет «а-ля-франс»), и стакан, чтоб хрусталь! и шофер, чтобы Ганс! Захотел, хоть в Китай, захотел, хоть в Иран! Надоело хотеть? С коньячком-с на диван! Будет думаться мне: ах, как ладненько тут! А проснешься — долги: заклюют, заплюют...

Я домой, как орел: извиняюсь, не то... А там дура моя, а на дуре — манто! Подавай хрустали ей, авто подавай! Хоть пол-литру бери, да ступай под трамвай! А на кухне, хоть плачь, тараканов да мух! И сказал я: «Эх, мать!..» И еще, тоже вслух. Пожевал макарон, кинул стопочку в рот, усмехнулся себе и пошел на завод. (1974)

Мысли, чувства и слова должны как следует «выгореть» до того, как упадут на бумагу. Тогда их остается мало, они примитивны. Мне это нравится.

А ну, налей, налей до края! Как я любил, любил ее... А ну-ка пей, моя вторая, за худо первое мое. Давай, давай! Еще не слабо: налей вина, налей еще, — я ж будто с нею, дура-баба, мне, будто с нею хо-ро-шо! А ну, постой, постой, красотка: кого зову, как брежу я? А ну, налей, налей по стопкам, моя кукушка нежная. Она моя, моя зазноба, как ни пойду, ни поверну: она, змея, моя до гроба, — и руки тянутся к вину. Люби меня, люби, не зная! Ай, лучше брось: я сам — жулье! А ну, налей, моя вторая, за худо первое свое... (1986)

Стилизации — непреодолимый соблазн русского сочинителя. Примерка на себя роли блатного: подходит!!! Подходит, черт ее побери! Она ко всем в России подходит...

Всё было между нами не случайно, ах, наплевать: жизнь всё равно глупа! И ты меня по-прежнему встречаешь, кассирша гастронома «У попа». А я теперь, как дурочка в трамвае, в час пик теряю нижнее белье. Ты для меня, как соль на каравае: я первым делом кушаю ее! По-прежнему я в голосе и в силе: дай закурить, на струны надави! Ведь мы не зря, как сдачу, утаили вино эпизодической любви. Я пред тобой стою, как башня в Пизе. Углом к земле? Так это от тоски! Я мог бы стать тебе опорой жизни, не разменяйся так на пятаки! Схлестнемся, дорогая, без «накола». Ребята наши вывихнут мозги, когда ты зашипишь, как

«Кока-Кола», став холодной мороженой трески. И я тогда начну тобой гордиться, глядеть на бантик в области пупа... Ты без меня не стала б продавщицей, кассирша гастронома «У попа»! (1981)

Балагурский треп, словесные ужимки, игра образов, тематика — это не главное. За бормотанием и эпатажем всегда стоит тишина. Контекстная тишина нашей русской жизни. Не на бумаге, не между строк. Между нами, живыми трепачами.

Никогда я не жил по сюжету, никогда не бежал от людей: на моих белоснежных манжетах адресочки чужих лебедей. На бокалах помада алела, — ее глаз холодящая страсть приказала лениво: «Будь смелым!» — и голодная крепость сдалась. Может, гордость течет не по венам? Участь женщин — испытывать честь!

Штурмовал я отвесные стены, хоть и видел, что настезь подъезд. Лейте, лейте бальзам раскаленный; вам анафема — имя мое. Я любил вас, как ветер влюбленный; в сердце раненный, громче поет! Сам себе я заказывал раны... Брал «препятствия» там, где их нет. И она мне сказала: «Вы пьяны и летите на призрачный свет!»

Повторился сюжетик банальный: вострый мальчик бежал от людей. На манжетах душонки крахмальной алый след от помады блядей. (1981)

Зажглась калина светофором: остановись, остановись! Сорви, пока не склюнул ворон долой — пылающую кисть! Дозрели капли кровавые, огня и горечи полны, моею кровью рдеет ныне калины дикая пьянынь. Перегорит огнем стихийным полулюбовь, полубеда. И там, где ранила калина, затянет раны лебеда. (1968)

Смотрю я на тексты, а в голове крутится: «Было, было, это уже было...» Ошибки нет: было! Ведь только чиновник, глядя на бумагу, может говорить иначе: «Будет, будет, всё будет...»

Сбылась сказочка, победил Иван-дурак, сам стал все входы-выходы охранять. Приблизится, бывало, путник, а он его спрашивает: «Биться будешь или так пройти желаешь?» Ясное дело, путник отвечает, как положено: «Биться!» Тут его Ваня и кончает. Наконец, на дурака другой дурак, похитрее нашелся: «Зачем биться? Пройти хочу». Сторож не возражает: «Пожалуйста!»

Россию не войной — чужим миром взяли.

Где-то там, далеко, в 25-м нарождались подранками дни, и в забрызганном белом халате милосердие шло за людьми. Бить без промаха дети учились, комсомольские песни трубя. Боже, скольких их захоронили, неживых, после казни, любя? Деда пили, да пели про Стеньку!

Совість русская спяну чиста: каждый сам по себе, помаленьку, потихоньку играет в Христа. Где-то там, далеко, в 25-м нагло вато поскрипывал «хром»... И родился отец мой солдатом, я солдатом родился потом. (1974)

Всё на земле распределено между людьми очень несправедливо: одаренность и глупость, богатство и бедность, прошлое и будущее... Я думаю, следует осознанно стремиться к еще большей несправедливости — только это превращает неторопливый отбор эволюции в стремительность цивилизации.

Есть у каждой судьбы, у большой и у малой, столицы; есть у каждой столицы судьба, имена, купола: для кого-то Москва, для кого-то Париж или Ницца, для кого-то столица — не дальше родного села. И у каждой судьбы, у большой и у малой, победы: после всех поражений — парады, знамена, слова. Как листовки, листва в покоренной столице соседа, ну, а дома опять поднялась на окопах трава. Ну, а дома опять разговор о судьбе подвенечной, на трамваях звенящих шары, на руках сыновья! Есть у каждой судьбы, у большой и у малой, навечно в Книге Памяти шрам, борозда и рубашка своя... В этой Книге листы, как разбитые стекла, тревожны! И завывала, как баба, тревога в четыре утра: быть судьбе без имен! Потому что тогда было можно имена не считать, коль такая случилась пора. Есть у каждой судьбы, у большой и у малой начало, продолжение дел и грехов предыдущей судьбы! Много есть у судьбы... Только всё равно мало: чьим-то именем, делом и памятью быть. (1977)

Д. я знал давно, с его подросткового старта в люди. Жить Д. не хотел с самого начала. Знакомые психиатры научили меня обращению с суицидником: надо всё время продлять «линию жизни» — рисовать дела на завтра, занимать воображение многогодичной перспективой. В конце концов неглупый парень научился «рисовать» дорогу себе сам, писал стихи, защитил философскую ученую степень. В тридцать три года он поставил на этой дороге вожделенную точку. В день его смерти я ощутил в мыслях ехидное откровение: ни-че-го не произошло, ни-че-го не изменилось.

Морщины бегут от губ, как дни от меня бегут: непознанно я берегу траву на чужом лугу, листву на судьбе чужой, птиц над чужой судьбой, и на земле живой — умерший домик свой!

Такие дела, такие дела: жизнь...

Непознанно я нахожу в грядущем былую жуть, но я терпеливо жду: не ангелы свечи жгут! Смерть на миру красна, смерть на миру вкусна! Что же твердит она: «Белого бойся сна!»

Такие дела, такие дела: жизнь...

Бойся друзей на треть. Пусть золотая клеть птицам поможет

**спеть — только бы спеть успеть! Морщины, беды каприз, — мужчины
ложатся ниц! Время слепых возниц, кланяюсь: не споткнись!**

Такие дела, такие дела: колокол,.. да кулак...

Жизнььььь... (1978)

Что ж, смерть, в конце концов, — это самое важное событие в жизни. Путешествие от тишины к тишине предполагает качественное ее изменение. Духовного взора этот сценарий смутить не может, а телесные инстинкты — в зачет не идут. Набожный знакомый сокрушался: «Потоп! На землю пришел всемирный духовный потоп!» Ну да, человека сегодня затопляет со всех сторон: от экрана, с листа, церковной алчностью, избытием образов и возможностей. Пена Маммоны заливают и сердце, и голову. Люди ищут любые духовные вершины, чтобы спастись, подняться... В этой исключительно браконьерской обстановке процветают владельцы даже самозванных «вершин»: медиумы, секты, религии-однодневки. Рынок «вершин» похож на опийный: они уничтожают друг друга. А за «спасение» с неопита берется тройная плата — отдать придется не только деньги, но и голову, и душу.

**Среднерусская, среднерусая полоса моя, полоса! Как косой свели
лес на пустоши: не роса — слеза на глазах. Сколько было там наших
дум и снов, всё ушло, а мы — по пятам. Ни одна ветла не светла вес-
ной, ни один из нас не видал. Боль оставит нас, будет только свет: над
стогами серп в небесах! Отведи ладонь — губы шепчут: «Нет!» Полоса
моя, полоса... Среднерусская, среднерусая: петухи кричат с хрипотцой.
Утро сбудется! Я всё чувствую: ступит к нам заря на крыльцо. (1976)**

Текст — это поступок. Лишь потом он имеет творческое отражение, двойника — на бумаге, полотне или в звуке. Обманщики действуют вспять: первоначально рисуют обман и уверяют, что это — поступок. Так действовали попы и коммунары. Попов убрали, потому что они составляли конкуренцию. Сегодня попы берут свой реванш. (2004 г.)

**Ну и жизнь пошла: дальше некуда! Что за люд вокруг: зельем сы-
тые?! Возлюбить отца сыну некогда, совесть волком спит, недобитая. С
хрусталя да в рот, из грязи в князя, все давным-давно позапутано:
всё, что хочешь, есть, только взять нельзя, что ни юдоль, то зело смут-
ная. За столом сидим, как обычно, мы, на работе врем, будто молим-
ся... Оглянись на жизнь: соль да вычеты, «Дело личное» — ох, бессон-
ница! Ну и жизнь пошла: злато-серебро, на коврах один, а другому
бы — то ли шерсти клок, то ли из ребра бабу глупую, водку смолоду.
Сало кушаем, аль «кетовую», затыкаем досуг Мопассанами; обросла
жульем Русь кондовая! — ох, поджечь бы всё, да всё заново! Ну и
жизнь пошла: наплевать, гори синим пламенем «завтра светлое». В го-
родах шустряют в штатском «егери», а в лесах одни пробки белые! От
мамаш скулеж, мужиков буза: «Между делом, еще поднатужимся: поме-**

няли опять над собой образа, и вконец обалдели от ужаса!» С бадоба да призыв: «На гора! Да — ура!..» Прослезились во лжи старики: ми-нул-канул век, ох, пришла пора серебро собирать на венки... Передать бы груз, обещания, оправдаться бы перед совестью: пьют не пьющие на прощание! — принимай грехи, как по описи. Ну и жизнь пошла: души голые, будто мор чумной бродит в таборе! Кто по горло сыт нашей «школою», а кто плавает — сплыли за море... Оглянись: у нас — всё не-сметное! Ну и жизнь пошла: сила смертная! (1975 г.)

При социализме я часто слышал от друзей милую фразу: «Тебя всё еще не посадили?! Пора бы, братец, пора!» А за что? Я никого не обижал, просто честно и страстно пытался разобраться в том хламе, который был натолкан во все мои извилины и щели. Думаю, каждый мыслящий гражданин был в то время «созвучием» другому, поэтому и не закладывали, не трогали, жалели, на-верное. Себя жалели.

В актовом зале, в день профессионального праздника до отказа заби-том нарядными кагэбэшниками, я выступал в качестве приглашенного город-ского «барда». За деньги, между прочим. Ну, и спел...

Сначала была нехорошая такая, растерянная тишина. Потом, секунд че-рез двадцать, главный генерал похлопал в ладоши, одиноко и сдержанно. Ос-тальные хлопали, не сдерживаясь.

Зачем вы такие все строгие, зачем вы такие все правые? Прямая дорога в остроги и кривая дорога за правдою... Зачем вы такие все ти-хие, какую отравой напуганы, какими незримыми вихрями и достовер-ными слухами? Ответьте, хотя бы по-дружески: доверья оставлено много ли для тех, кто обязан по должности, и тем, кто обязан по совес-ти? Любите живущих на облаке, любите посулы дурманные, доволь-ные царские олухи, — привольное времечко пьяное! Держитесь за красное солнышко, ловите мгновения вечные, покуда есть капли на до-нышке, покуда перстом не отмечены...

От моря до моря, угарная, но всё же земля родимая живет под замками амбарными, под сапогами и шинами! И бродит гражданка Ис-тория... Подать бы! Да вывелись нищие: все лица пророковы строгие, все цели далекие высшие. Ответьте, хотя бы по-дружески: какими об-ласканы сроками, к какому готовиться мужеству, какой позабавится «фокусник»?

«Увы, наши песни не долгие!» — сказали идущие, падая... Прямая дорога в остроги и — кривая дорога за правдою. (1982 г.)

Мне кажется, что прошлое больше... не создается. Трудно сказать, к че-му это приведет; всё цифруется, архивируется, всё готово к немедленному воспроизведению и репликации без потерь. Оцифровка не оставляет места старым мифам: факт побеждает легенду. Прошлое становится реально дос-тупным, насквозь однозначным и видимым. Корабль жизни перестал избав-

ляться от отходов. Что-то будет.

Мёша-речка в июль холодна, но мальчишки ныряли туда, где, казалось, что не было дна между сваями... То-то беда! Когда лоб расшибив, чужаки городскую пускали кровя... Матерясь, пацанье-мужички обучали приезжих нырять! А потом — над костром пескари... Сколько лет тому минуло-было?! Поезд — мимо: уйди, не смотри... Мель, да пустошь у избы унылой. (1976)

Все кричат, дерут глотку, требуют к себе внимания. Можно, конечно, виетивато и красиво изложить свое «хочу», а можно попросту взвыть — результат, в принципе, один и тот же будет: дадут-не дадут. Так делают взрослые и дети, причем дети орут продуктивнее. Я не без ужаса заметил: крик человеческого детеныша самый невыносимый! Его даже дикие звери перенести не могут — бегут или начинают ухаживать. Вот ведь с чего начинается власть «венца природы»! А так называемые творческие личности — это всего лишь инфантильные тети и дяди, задержавшиеся в детстве навсегда. У них душа очень крикливая. Слышите? Правильно: не-вы-но-си-мо!

Хочу застрелиться, но зрителей нет, хочу быть один — окружают, хочу повиниться — не верят вине, хочу согрешить — не мешают! Хочу извиниться — давно уж прощен, хочу нахамить — все хохочут, жениться хочу! — не находится жен, хочу разводиться — порочат. Хочу, как учили: хотеть и иметь, хочу объявляться на равных. Хочу тишины — продолжают шуметь: поганцы от малых до главных. (1981)

Иногда я делал перед стихатами пометку, ссылку на отправную точку: «Оказывается, в советские библиотеки ежемесячно поступают специальные формуляры, предписывающие уничтожение неугодной литературы. Инквизиция-84.» Этот секрет мне рассказали непосредственные участники варварства, горящие работники бибколлектора. И вот прошло 20 лет, перечитываю, хлопаю себя по лбу: а что изменилось?!

За нынешнюю силы убежденность потомки не расплатятся стыдом! За голых полок книгопрокаженность, за идеалы, оскопленные судом. За ту доброжелательность «прозревших», сестру жестокости в прозрении своем, за ту науку не до смерти вешать, за «праведность», добытую враньем Карета мчится, властоносен Инквизитор! От Папы Первого до самых этих дней... Копытной брани странен глас пиита: «Не останавливайте, мальчики, коней!» (1984)

Культура — это «братская могила» культов, кладбище идолов, утративших свою демоническую силу. Отличить одно от другого не трудно: культ ненасытно питается живой человечиною, пожирая даже невидимое — душу, а культура, наоборот, питает собою живого человека. Как навоз земляничный побег. Жизнь и культ несовместимы.

Метнулась крутая дорога змеей, небесные слезы омыли ее, и Страшного день наступает Суда: заря окровавлена, поступь тверда! Напрасны угрозы, моление, вранье: дорога разбила земное жилье. Возврата не будет, гневись и гляди: ослепшие люди, глухие вожди. Дорога не чудо, дорога беда: пришла ниоткуда, уйдет в никуда, но тащится путник от ночи до дня, презревши отставших, ушедших кляня. Разменяна плоть, как за душу цена: бессмертные грешники... Их ли вина? И только дорога, как рока рука, — в любви беспощадна. И вера — легка! Отметимы мира, чужое добро; на каждом идущем — узда иль тавро! Нельзя оглянуться, душа не вольна: дорога! дорога! дорога одна! Дышащие в спину, друзья иль враги, безвинны, как ты... Но не видно ни зги! Упал горизонт, раскрывая врата: куда ты, дорога? дорога, куда? (1982)

Карьерист раздвигает других, чтобы преуспеть самому. Лидер раздвигает пустоту, чтобы продвинулись другие. Пирамида нашей жизни образовалась в результате усилий карьеристов, называющих себя «лидерами».

Ты прости нас, прости нас, планета, пир чумы объявляется вновь: льется время тревожного ветра в реки дней, будто черная кровь! Ты прости нас, прости нас, до срока покоренный, испуганный мир. Тихо пепельный страх у порога, как последний стоит конвоир. Ты прости нас, прости нас, неумных, оболгавшихся в жажде дерзать; плачет век наш, последнее судно, опоздавшее в звездную рать. Ты прости нас, прости нас за клятвы и за планов красивую спесь; наше прошлое — грешная плата за последнюю, страшную весть! Ты прости нас, прости нас, планета, Гималайская хмурится бровь... Время жалом тревожного ветра вкусно пробует черную кровь! Ты прости нас, прости нас, навечно: от чумы не спаслась неба синь. До свидания, сын человечесий! Разом слышно: «Ура!» и «Аминь!» (1987)

Мне голос, как религия, суровый, сказал по телефону пару фраз. И понял я, что «первым было Слово» и что за ним последует приказ! Путь жизненный, на факты разложенный: свою задачу туго знает рать! И понял я: не бравший тоже «должен» брать на «живца» и даже торговать! Года бегут, уже седеет волос, опять легла листва на тротуар. Но с той поры мне чудится их голос, и непродажный прячу я товар! А на развалинах намерений порядок, заботами, как в доте, окружен, и точный бич владычествует стадом, и окриками режут, как ножом! Да, я боюсь товарищей бесстрашных, да, я надеюсь выйти из дверей, но мою жизнь, как смерть из патронташа, вот-вот достанут пальцы егерей! Остановись, мгновение злых духов: на всё решусь, как баба на аборт! Мне снится по ночам большое ухо и в удилах ослабившийся рот! Траву живую ветерком колышет; всяк сам себе — секретный аппарат! Мне

**кажется, что люди правду слышат, но только единицы — говорят!
(1984 г.)**

По количеству потраченных слов я сужу о качестве внутренней тишины. Если не успею справиться сам, то поможет природа: умру и заткнусь. Детство у меня было трудным: сильно опекали и ничего не разрешали. И вот теперь я — «трудный» переросток, нападающий на неосторожных читателей...

Кто пьет и ест умеренно, — проверено? проверено! — тот будет жить, наверное, не меньше, чем до ста: здоровье не потеряно, давление измерено, шагай себе уверенно — какая красота! А если ты, как связанный? — доказано? доказано! — грызут дела, куражатся, проели плешь твою: болезни будут разные, опасные, заразные, по будням и по праздникам — помрешь, да не в раю. Ведь если пьем, как мерины! — проверено? проверено! — есть даже в протокольчике забавная графа. Друзей всегда не меряно, ночуем, где постелено, всё можно, что не велено: графиню для «графа»! В пятнадцать лет по «маленькой», — нормальненько? нормальненько! — от первой репетиции спектаклям нет конца. Эх, ночка повивальная, буфетно-привокзальная, судьба-дорога дальняя скрутила стервеца! ...Молчаньем день встречаем мы: — отчаянье? отчаянье! — ведь лучшим долгожителем была тоска-змея. Ругаемый, качаемый, земля моя венчальная, бурлит заварка чайная: не жизнь, а чифирня! А что мне было досыта?! — вопрос это? вопрос это! — прошу, как подаяния, чужой души куски. Зачем гонялся по свету? Чтоб досыта! чтоб досыта! — достал бы я до Господа... Жаль, небо — не с руки. (1985)

Старинная пластинка досталась Светлане от давно умершей тетки: «Я ставлю эту пластинку на проигрыватель очень редко. Берегу. Слушаю, слушаю, пока звучит... Будто домой прихожу!» Эти слова услышала маленькая племянница: «Тетя Света! Потом ты подаришь эту пластинку мне, а я тоже, когда вырасту, буду домой к тебе приходиться...»

Хор девочек качался камышом вослед за мановеньем дирижерским; томился света желтый капюшон, стелился, тая, и — приподнимал подмости! Познанья страх, ранимее, чем восторг! Самооткрытие, вибрируя, взлетает! Шепните: «Браво!» — так еще не смог пропеть никто! А свет струился, тая, тая... Стой, нежность, невостребованный клад, еще побудь: жаль, песню не воротишь. За всё заплачено бесценностью утрат: погасят свет, ты выйдешь и — билетик бросишь. (1987)

Очень уж мне понравился один образ, навеянный скучной поездкой из одного райцентра в другой по зимнему тряскому тракту. Поделюсь. В автобусе-блошке покачивались одни лишь бабушки, одинаковые, как космический десант; я наблюдал их с заднего сиденья: головы всех бабулек представляли

из себя совершенно одинаковые темные шары, замотанные в одинаковые шали. Божья униформа, ни дать-ни взять. Селянки ехали молиться. Именно тогда я вдруг изумился: «Ей-богу, десант!» Спецподразделение, сброшенное на землю с особой миссией: терпеть, демонстрировать безоговорочность и смирение, воплощать доброту. Была суббота. Подразделение по субботам ездило для донесений «шефу».

Метель кусала. Холод жег. Васильевну похоронили без оркестра. Мать помянув молчаньем пресным, умчался младший во Владивосток. Сосед Степан неделю пил. Креста изготовитель, мастер Степа, седьмой десяток зим ухлопав, — по долгожительству Васильевну любил. Вилась родня, а то: совет! Хватило сутолоки на день или на два... Уж под крыльцом, ночная язва, опять брехала беспородность на весь свет. Дела-а-а! Забот, хоть брось! Есть счастье умирать без потрясения. К Васильевне по Вербным воскресеньям Степан приходит. С разумом поврозь. (1987)

Дурак в кустах прячется, умный — в дурашливости. Мансарды художников спасали и дураков, и умников. Это были места, позволяющие, как бутылка, спрятаться от себя самого. Низкий поклон вам, оазисы доброжелательного хаоса! В 1973 году я, нищета, занял 3 рубля у нищеты — Витьки Олюшина, графика. Вити давно уж нет, а три рубля я еще не отдал... Отдам, когда разбогатею.

Чиновники летают самолетом туда, где вождельные края, ну, а служители изящного к высотам стремятся, потом обливаясь в три ручья. Как мальчики, бегут за результатом, ответа ищут в иксах и вине... Картины с женщинами нравятся солдатам, так как с мишенью согласуются вполне! А на мансардах, с птичьей повадкой, девчонки мудрствуют, чифиря и дымя, и график Витька их впечатывает в ватман — на дыбе множительной, глупеньких, плашмя! Здесь нет предусмотрительности мэтров: боязнь осечки губит высоту! Желая чуда, деньги мерили мы в метрах, как камикадзе, в вечность бросивши мечту! Чиновник всё назвал «эфемеридой», спокойный, как армейская броня. Чем дальше путь, тем крылья жечь обидней, где под пером есть, извините, пятерня.

Надломленная ветка долго сохнет; домашний гусь летает в сентябре... На пятом этаже дверь только охнет: глядим на звезды — небо в траурном каре. А там... Чиновники летают самолетом, обжили вождельные края! Пока служители изящного к высотам стремились, вермут разливая в три ручья. (1982 г.)

«Разум — зверь, питающийся верой». Чую так: недолго озвереть! Как клопов, выкуривают серой из мозгов таинственную бредь. Мне один знакомый живописец говорил, дойдя до стадий риз: «Выпей, друг, и дух тебя возвысит!» Выпил я и мордой — грянул вниз!

Есть один очень важный коммуникативный нюанс: качество общения задается не уровнем подаваемой информации, а уровнем восприятия! Только поэтому, ведя, казалось бы, глупейшие разговоры (и, зачастую, глупейший образ жизни) «клоуны» умудряются оставаться на острие практики и творческого поиска. Совсем не важно, что они болтают, но важно: как они слышат! Именно уровень восприятия обуславливает глубину осмысления. Подающий и принимающий, зачастую, не равны, как ребенок и взрослый. Общий уровень культуры жизни может быть низким, но свой своего всё равно поймет запросто. Хоть бранью. Образованность — это не культура поведения, это — культура восприятия.

Я пел, как птичка: всем и где попало, особенно, когда «за воротник» мне горькая подружка попадала, так выдувал! Хоть вешайся сей миг! Не я один стоял на перепутьи. Царь-камень, средоточие наук, экзамен принял: знаю наизусть я вопросов перечень в количестве трех штук. Я сел, как ворон, так философично! Достал, что нажил, прожил и украл: хотелось мне, чтоб счастье было вечным, чтоб крепче, чем урановый запал. Кукует время. Зря! Оно — пропало. Сапог испанский перешит на воротник... А горькая подружка шепчет: «Мало!» — и вьется жизнь, как немудреный змеевик. (1982)

Не передать, до чего не по себе мне становилось, когда светлейший сбор членов клуба авторской песни соскакивал со своих стульев, хватал друг дружку за руки и, встав кружком, остекленелоглазо затягивал: «Подня-я-явший меч на на-аш сою-юз...» Бр-ррр! Обычно я старался предугадать этот священный момент и удалиться на крышу Дворца культуры, хлебнуть чистого воздуха и красного винца. Но не всегда успевал. Иногда к нам приезжали московские авторы-знаменитости. Их тоже ставили в круг и они вынуждены были подчиниться правилам «монастыря». Я их жалел — «крыши» у них не было.

Не много чести быть сильнейшим среди охрипших, демоном больных, и за советы брать, как конский фельдшер, внимание непуганное их. Как будто бы застывший сеттер — эстетство настроено на «дичь»: полупоэтов глас относит ветер, их творчество, похожее на спич. Полунутьем полупронизав души скорлупку косным словарем, «подня-явши-ий меч...» — полусектанский вызов они поют, полураскисши в нем. (1979)

Абстракционизм является главной политической силой нашей страны. Абстракцией описывают абстракцию, знаками обозначают другие знаки. Настоящая жизнь теряется в глубине ненастоящего. Ворчанием я выражаю любовь и почтение к временным идеалам моего отца, которым он посвятил свою единственную жизнь.

Я с детства выучил пароль отцовский: «Капут войне! Насильники

в земле». И на парадах маршал Малиновский давал понятие: кто в силе, кто в седле. И я гордился ворожкой чеканной; в наш огород, листовками соря, на крыльях «кукурузников» желанных — влетало время отголосков Октября! Еще храбрились в праздничных застольях инфарктники, вояки и бойцы! — не жаль речей в подешевевших ролях: «Капут войне!» — лишь бы запомнили юнцы. Дымили трубы делово. И с песней: в газетных констатациях жива идея, и субботник, и воскресник, — приподнимались, как державы булава! И потрясенный сверхкосмопрограммой, благословляя внуков на века, суд стариков с упорством полубранным нащупал смысл в... подорожаньи табачка. Земная кровь в нефтепроводах — ядом! Агитками не сыпят небеса! Мир тиражей, как действующий дьявол, кинжальной ложью рассекает словеса. Кто, где и как переломился веткой? Энтузиазм — короткая стезя. Ах, тот завет, незыблемый, но ветхий: «Капут войне...» — я декламирую, как зря. Нет, я не против пятилетних планов, мечта не удавилась от тоски. Колбасный магазин для ветеранов «Спасибо Гитлеру!» — называли старики. (1989 г.)

Если мужчина привязался (или его привязали) к женщине, то вскоре его обязательно начнут «дергать». Размышления на эту горестную тему вывели меня на тему... благородства. Благородство — это не дергать привязанных к тебе людей. А еще лучше: не создавать привязей.

В лесу, где свет зимует, недвижим, — хрустящий шаг мой, звук твердит зачем-то: «На-до жить...» И я живу сверх установленного круга. По сердцу льдинка водит острием: покой — источник дум. Не взгляд, а взор души продлен — мой пригородный восьмимартовский колумб. (1987)

Без массовой истерии не обойтись. Если нет страшилки еще более страшной, чем наши страшилы у руля, то как управлять? Нагнетание истерии в стране — залог порядка. Главное — создать массу поводов, чтобы действовать; только тогда можно очень выгодно разрешать и миловать. Я эту школу проходил.

Впилась в меня, не в силах сожалеть, направленная злобой вдохновенной, сверкающая ядерная смерть: мгновенная, мгновенно! Отца и мать я вспомнить не успел. Да что там, не задумавшись о бренном, вознесся, испарился и сгорел мгновенно я, мгновенно!.. Нет, — по будильнику! — я сон перечеркнул: очухался! живой! обыкновенный! И прожил век, как будто бы чихнул: мгновенно я, мгновенно. (1987)

Имеет ли мечта координаты? Имеет! Двухмерные, трехмерные, четырех... Кому что. У мужчин мечта живет там, где водятся деньги, у женщин — там, где они тратятся. Кольцо жизни. Шуточка.

Погода, как женский характер: чего уж, другой-то ведь нет! Садимся, ребятки, на катер — давно уже куплен билет. Садимся, бутылки откроем, нас лоно природное ждет! Бесплатных грибочков нароем: вперед, дорогие, вперед! И вот он, лесной заповедник, с природой бы справиться нам! Тут каждый, как бедный наследник, помчался шукать по кустам. Помчался, гоним дармовщиной, бибикнув природе: «Дашь!» С песнями, вином и корзинкой ложилась природа под нож. Погода, как женский характер... В кармане обратный билет; садимся, ребятки, на катер: в лесу ничего уже нет. (1985)

Гнилую интеллигенцию, к коей относился и я, не допускали подрабатывать совместителями. Гегемону — пожалуйста! А «гнилым» — нельзя, ишь, чего захотели: жить хорошо! Всё равно устраивались. Я сторожил огромный, метров триста в длину, цех, где выпускались для военных нужд плавающие платформы-тягачи. Ночью шныряли крысы. А однажды в цех, погнавшись за голубем, залетела редкая для наших мест птица — орел. Я его при помощи кошмы изловил кое-как, выпустил... Стишок, приведенный ниже, был написан в стеклянной будке мастеров, в присутствии голубей и крыс.

Ты перестал оплакивать планиду: печататься при жизни? Суета! У классика романов полон «сидор», с портфелями блатная мелкота. Сидишь ночами в цехе, карауля, чтобы, пардон, не ёкнули штаны. И сторож по-соседству есть, дедуля, живой вещун полуживой страны. Он ритму в такт кивает деловито, печалится о чем-то неспроста: «Вот будешь, мил-сынуля, знаменитым, напишешь про заводские места!» Дежурное мигает освещенье, из города не действуют звонки... И дедовы картежные «крещенья» — нагляднее пожизненной тоски! (1985)

Мы воспитывались на формуле: «Герой нашего времени». Это было неправдой. Герой в России — всегда из времени не нашего. Первым был Илья Муромец, супермен из былинного прошлого. Остальные — безымянные: князь-рыцарь, аристократ-капиталист, революционер-идеалист... А вот оглянутся потомки на наши годики, кого в роли «героя» разглядят? Вора!!!

Поджигают себя в знак протеста студенты. Так и наша Земля, протестуя, сгорит. И, пожары поняв как удобство момента, приоткроет лицо закулисный бандит. Закисают умы, чтобы после «броженья» опустилась на дно злобы тайная муть. Ты наивных борцов через самосожжение, отхлебнувши свободы глоток, не забудь! На закрытый урок Чернобыльской проказы от огня, что внутри, проложи параллель: там бульдозерный рык, пыль и противогазы, ну, а тут ставит точку судьбы канитель. Поджигают себя в знак протеста студенты... За вечерним чайком, в разговорах пустых, погляди в «Новостях» ты с «клубничкою» ленты — на оплавленный лик беззащитных святых! (1988 г.)

За сливочным маслом в конце 50-х стояли дикие очереди. Бабуся брала меня, мальчика, в качестве дополнительной человеческой единицы, на которую можно было получить дополнительный вес. В очереди, конечно, оказывались ее старушки-подружки. Принято было, после получения своей пайки, «одалживать мальчика»: я стоял еще раз, уже с чужими... Хрущева я ненавижу всей душой, его в очереди с наслаждением ругали!

«Мальчонку в очередь стоять не одолжите?» — я помню все хрущевские «хвосты», отца пронафталинового китель, и фикусы в домах: для красоты! Сидели куры с пацанвою на заборе, болел живот от яблок-зеленца, и мало кто из нас бывал на море, и ни один не пробовал винца. Ходили, надо ж, жалобясь, соседки — с котом в мешочке (просьба «тет-а-тет»): зверье ледащее пристреливал — так метко! — папаня из казенного «ТТ». Глядеть на спутники весь квартал собирался: «Ну, заживем!» Живем себе пока... Для близости на крышу забирался, — и так упал, что треснули бока. О коммунизме без умолку говорили, шумела драками пивная на углу; мальчонку в очередь поставили, забыли: «За чем стоим, товарищи? Ау!» (1987)

Я видел людей, чья зарплата росла за то, что подслушано из-за угла, и видел я уши, забитые ватой, и слышал: всё видит немой соглядатай. Узнай мою тайну, как иго она: слепых и молчащих неймет ни хрена! Свобода, как чадо, играет «пустышкой» под «колпаком» — в перспективе под «крышкой». Зарплата, как Золушка, — фью-ить! — подросла: не слышу, не вижу. Была — не была! (1986)

Ой, показуха нас погубит, показуха: какие речи влетают в ухо! каких размеров висят портреты! какие песни! и как пропеты! какие волны самоотдачи! какие люди! какие дачи! какие шансы! какие звуки! какие земли! Всё — по науке. Ой, показуха нас погубит, показуха: какая сила в резервах духа! какое право у депутата! какая ясность и точность мата! какие «кадры» на выдвиженье! какие семьи! и сбереженья! какие планы по освоенью! какие спецы по говоренью! Ой, показуха нас погубит, показуха: «Алло, потомки?» Глухо! Глухо. Глухо... (1978 г.)

Наверное, никакой особенной художественной ценности в этих стихообразных текстах нет, но, датированные, они приобретают странное свойство — статус документального зеркала. У меня есть знакомый Плюшкин, краевед, который всю жизнь собирал исторический мусор; когда этого «мусора» стало столько, что им заполнились несколько музейных залов и не одна архивная полка, Плюшкина стали величать иначе: историк. То, что достаточно долго пролежало в чулане, становится в пасьянсе жизни играющей картой.

Линяет совесть: ярче этикетка! Пижоны прячутся за темные очки. И глушит нервы верная таблетка, и искренность ползет за матюки. Ги-

покинез и старческие «охи» берут за горло в возрасте Христа; как одолжение, детей рожают снохи, и женихи тикают неспроста! А по углам молва кует тенета — их не порвет и «новая метла»: все хорошо, живем до поворота, свободу за углом пьем из горла! (1980 г.)

Однажды бизнесмен и бард Андрюша Юдин, человек умелый, решил меня издать, прозу; создали макет книги, иллюстрации, выплатили от фирмы стопроцентный гонорар мне и художнику... А книга с названием «Показания очевидца» так и не вышла в свет. Ничего страшного, публикации пришли чуть позже. Много различных улетело в мир названий! Но не оглашенная их суть осталась прежней: показания, протокол чувств и мыслей. Я не сомневаюсь: факт без осмысления — голый факт. Поэтому я для него всегда какое-нибудь персональное «дело шью»: стишок, арабеску, эссе или просто третейское ворчание.

Такое даже боже не предвидит: характер баб активней мумиё; она меня, как кобра, ненавидит за то, что я нашел ему ее. В том доме я, считай, уже не лидер, случись чего — не пустят на горшок: она и он в упор меня не видят за то, что я им сделал хорошо. (1981)

Случай реальный: я своему закадычному приятелю нашел невесту, они сразу же сошлись, за пять лет нарожали троих детей, а я из их жизни — как выпал! Почему? В канонических текстах есть, помню, психологическое предупреждение: больше всего мы ненавидим тех, кого обижаем. Но я-то чем их обидел?! Канонический текст следует подправить: больше всего нас ненавидят те, кому мы сделали хорошо.

Журналист делает из мухи слона, а писатель возвращает мухе ее первоначальный облик. В русском настоящем присутствует избыток «грандиозного», поэтому будущее заведомо бедно.

Вот щечки, круглые, как попка, а попка шире, чем диван: сидит в президиуме ловко тупой, как курица, баран, шакалы лают беспричинно, заблеять пробует Пегас... — скотинам хочется до чина! Проголосуй, рабочий класс! (1981)

Наша «тридцатка», средняя школа, в которой я когда-то учился, была далеко не «средней»: многие уроки вели преподаватели института — натаскивали будущих электронщиков. Не это главное. Повезло с учителями, которые на равных подтрунивали: «Главное — не знания, а умение думать». Но и это не главное. Учителя были разные: и совсем седые, и молоденькие красавчики. А главным оказалось вот что: учителя никогда нам не говорили о том, что любят жизнь, — они на нее не жаловались!

Нет, право же, чему-то нас учили: я вспомнил класс, экзаменов мандраж, ведь как мы там красиво жили-были под взглядами, что ост-

рый карандаш. Учителя от insultов сдавали, всегда опаздывая к жизни на урок... Мы клички им обидные давали — в награду за науку и добро. Вколачивались формулы и схемы в пустые головы, суровел педсовет; увы, учил нас не урок, а перемена! — в пятнадцать, ершиком нахохлившихся, лет. Мораль читали нам идеалисты: казенных бессребреников строй не понимал в потемках наши твисты, смешные, как подвыпивший Пьеро. А мы росли за рамки, за реформы, ходили под руку, почти что не таясь. И виделась, как истина, бесспорна, дорога вдаль — на краешке чутья! Учителя учили нас, учили! А мы Высоцкого крутили «на костях», и Пушкина в девятом «проходили»... Прочли — десятилетия спустя. (1987)

Пожалуй, без примечания не обойтись: «на костях» — это самодельная гибкая граммпластинка, изобретение 60-х, изготовленная из старых рентгеновских снимков. Свобода слова и человеческие кости! — Символ страны Советов.

Поэт удобен только после смерти; при жизни кто удобен — не поэт. Что одному не больше, чем усердье, — другому есть не менее, чем крест! Поэта смерть удобна после смерти. Ты оглянись: примеров полон ряд. При жизни их по жизни носят черти, а тут — готов божественный наряд! Судьба точна, как адрес на конверте. От перлюстраций разум не раздет. Дышать удобно только после... смерти — поэтому торопится поэт!

Те, кто поэта со свету сживают, — ему принадлежат: несправедливость справедливость обнимает. (1979)

Иногда жизнь устаёт сочинять свой Реквием — музыку мига, в котором кипит новизна. Вот тогда и появляется беззаботный мотивчик, глуповатый и шумный, как шлягер. У смерти — веселые песни!

Ты при жизни гляди с того света, чтоб увидеть, но — не опосля: прохрипеть, дескать, рая-то нету! От живых до умерших, конкретно, для попытки — есть только Земля! Разошлись на условные сферы чужаками, как материки, наши цели и наши примеры. Оборвав телеграфные нервы, уж апостолы тянут курки! Там, в какой-то древнейшей основе, как насмешка, единство дано — для упрощенной нашей любви, что всегда в предлавином покое обрастает надеждами... Но! Тьмою стало творение света, спит ранимый эфир доброты: что же буйствуют черные ветры над землею, где, зная приметы, пораззявили ящерки рты? Ты подумай: как чувствовать страшно! Светит лазерный луч свысока... Жизнь, кровавая райская пташка, проклевала бетон потолка. (1984)

Ни веры, ни надежды, ни любви где-то там, за пределом, на стороне, займы... Источник «троицы» — сам человек. Источник! А не пустой стакан.

Ну, вот, пожалуй, можно и закруглиться: «вдруг» начались мои песенки, пусть «вдруг» и закончатся.

1969–2004 г.